

## Заклинание змей под солнцем пустыни

Зачатый в утробе неведения, выношенный на руках самообмана,  
в заблуждении, черпающий оправдание собственной жизни,  
и согревающий эфемерную мысль мнимого превосходства,  
лилия грудничковой мудрости, уже полная самолюбования,  
стыдливо пробивающаяся сквозь мутную воду царственной лжи,  
твоя истина, хранящая девственность от посторонних глаз это –

философ, боготворящий стены родного храма,  
поэт, снимающий шляпу перед выпивкой, женщинами,  
втягивающий в прокуренные лёгкие  
бездомный придорожный ночной холод,  
лишь потом адресуя каплю внимания музыке строк;  
философ, говорящий: красоту, ещё нужно, уметь и подать,  
и поэт, принимающий на веру;  
борьба с глубокой тоской многотомной прозаики жизни  
и поэзия упоения заоблачной меланхолией

Цель твоей жизни – смирение, когда как,  
по большому счёту, её естество – разнузданная, балаганная девка,  
ядовито-сладкая и соблазнительно-отвратная;  
только взгляни, какие невинные лица у самых закоренелых мерзавцев,  
какой важный вид у самых последних бездарей,  
какой тёплый взгляд у самых сухих душонок,  
какая искренняя ненависть у самых нежных сердец.

И не лучше ли тебе умереть от рака лёгких,  
или разложения печени, чем, никогда в жизни  
не оставив и капли шелковистой горечи табака  
на кончике языка, не воспламенив рубиновой теплоты вина  
в кровоточащих мятой сосудах,  
равномерно гнить во всём великолепии высокопарного тела,  
в его рубашечной плоти, апогеем, олицетворяющей  
процесс пищеварения кладбищенского червя?

Иной раз ты всматриваешься в отдаленно-призрачный  
синий шум неба, и тебе становится жутко  
от всеядной пустоты пространства, охватывающей  
твоё беглое присутствие в мире грёз,  
и рождается страх, от глубины взгляда, ускользающего  
в зените опалённого солнца, страх невозможности  
вместить скудной мыслью всю бесконечность вселенского эха,  
вселенского небытия; и этот летаргический атмосферный купол,  
пронизанный облачной ветошью, смиренно, но, не без доли сарказма,  
смотрит на копошащийся под ногами кукольный город,  
будто бы зная – будет пить собственную кровь, и не напьется,  
будет поедать собственную плоть, и не насытится,  
и слёзы его не иссушит время, и радости его  
обратятся в страницы песочной пыли –  
какая таинственная безысходность,  
безысходность, делающая тебя сильнее.

Все твои круглые даты имеют свои рёбра жёсткости,  
ибо израсходованный, выжженный потенциал художника, есть –  
вознесение лавровых венков к мраморному сердцебиению осени;  
но подлинная острота художественного творчества – подполье сердца.

И совершенная ночь лежит тягостным хмелем воздуха  
на веках твоих штор, как прорицатели, обжигающиеся

о собственные пророчества, как твоё – никогда;  
как ум, цепляющийся за жизнь; как сердце, жаждущее  
привязанности; как душа, ищущая свободы;  
как свобода, находящая себя в безумии,  
где полная свобода – полное безумие.

И когда остывающее мгновение мёртвых цветов заката  
затмевает собой расцветающий солнцем полдень;  
когда в туманности утра, спрятавшийся в траве жемчужный призрак  
мелкозернистой росы, наполняет собой воздух до самых глубин  
бледного неба – тогда твоё молчание, непереносимое молчание –  
воистину больше золота.

Ты цементируешь привкусом скуки,  
расщепляешь голодом обнажённой плоти слова  
новые дороги для старых маршрутов,  
вечное завтра для бесконечного вчера,  
удушие городских серпентариев, разбавленное  
редким подшерстком гляцевых скверов,  
проспиртованные стекляшки рифм  
и сырые ноты подвальных ноктюрнов.

Думая о счастье, ты думаешь о лукавой улыбке судьбы  
из нежных искр на костре самосоженья –  
где полнота твоей жизни – преодоление;  
суть страдания – приобретение веры;  
и смысл терпения – заклинание змей под солнцем  
выжженной души пустыни.

Осадок света лёг в фонтан

Осадок света лёг в фонтан,  
Увенчанный листвой,  
Я выпью за прекрасных дам  
Из фляги золотой

Осенних сплавов. Дождь свинцом  
Покроет гарь рассвета,  
Я досмотрю последний сон  
Потерянного лета.

Осадком день уйдёт на дно  
Заката, рдея вскользь,  
И кровь наполнится стеклом  
Разбитых в окнах звёзд.

Твоих волос ночную гроздь  
Посеребрят луна.  
Мы будем вместе или врозь,  
Всегда и никогда.

Листвы просохший фолиант  
Иссякнет в многоточьях,  
Я выпью за прекрасных дам  
Бокал протяжной ночи,

Фужер вина или вины,  
Под холостую дробь  
Любви рожденной, что, увы,

Лишь смерть наоборот.

Химия выцветших глаз в прозрении вечного новолуния

Тяжёлые цепи объятий света на шее летнего полдня –  
люби же меня, мой город –  
витринная, заасфальтированная пробка  
на горлышке мгlistой реки,  
утоляющей жажду конструктивистских глаз  
закалённого оружейника.

Вот, распадающийся свинцовой дробью дождь  
нисходящего августа  
перелистывает свою историю,  
раздирая медные связки водосточных труб,  
и сознание, как вода, играющая смуглым огнём грузного неба.  
Вот, меня август возьмет под крыло,  
лебединым пухом высечет буквы и цифры в граните,  
и снежной лавиной истекшее время скользнёт  
в блаженную тьму, где облако сердца растает  
осенним дождём над горячей золой заброшенных пляжей.

Я бережно охраняю вкус, цвет и запах  
вечного распада  
в горчице стылого песка, скрипящего под ржавчиной осени,  
горящий в изголовье нимб от пожелтевшего эфира,  
что, как скрипичный ключ перед пустынной партитурой,  
и безответность горизонта, облитого рябиновой слезой,  
и грань дождя тяжёлым бриллиантом  
на матовой сетчатке – всё это для меня –  
свидетельство нетленное души, и бремя, и любовь;  
о, предосенняя любовь, я припаду  
к твоим варикозным пыльным ногам  
самоуправством сердца и вакханалией строк –  
прими же из рук моих дар свой звенящий –  
проклясть, благородно распять, или бросить с гордостью  
кость снисхожденья голодному жалкому псу.

Нет, ни видимый свет, а только слепая тьма,  
прозрение вечного новолуния  
вмещает собой это сердце,  
постигая безмерность и бесконечность любви –  
нет у меня ничего, кроме законной смерти,  
вдыхающей родниковую влагу сосен  
на берегу безмолвия, оставляющего,  
лишь ожерелье луны, сонные колокольчики зодиака  
и опьянённую надежду, змеящуюся шёлком грозы.

Бескрылый полет ветра;  
судорога ослепленного мотылька солнца;  
леденяще-черная кровь ночи в прожилках вздернутого леса;  
золотые струны надменной виолончели осени,  
изливающие поток серебряной пены на уголь летних пожарищ;  
тлеющая киноварь листвы,  
оттеняющая потрепанный балдахин неба;  
химия выцветших глаз на перекрестках могильных цветов –  
это сладкое предвкушение умерщвления плоти,  
это засахаренный мёд онемевшей земли,  
это планиметрия уносящихся за горизонт птиц,

приветствующих топкое обновление сердца.

Всё глубже тишина, всё беспредметней слово

Всё глубже тишина, всё беспредметней слово,  
И невесомость тянет из щелей,  
Алтарь луны, как старая подкова,  
Движения преступней и нежней.

Всё безнадежней летняя улыбка  
На гроздьях, стянутых приморским сном, аллея,  
Кремнистый берег, привкус соли зыбкий,  
От слёз и волн опущенных бровей.

Воспоминания разбиты о вечерний,  
Больной дождём, надтреснутый карниз,  
Мелодия воды играет челном,  
И челн плывёт в зрачков туманный бриз.

Всё глубже сон, и олово рассвета  
Всё тяжелей, и в этот час одно –  
Лишь губ её холодные приметы,  
Лишь рук её доступное стекло.

Размытые следы с палитры блюза

Всю жизнь брести к себе, оледеневшей, мертвецкой походкой,  
к своему глухому степному приливу, раскалённому мраком луны,  
к своей полудикой присяге праведности, изливающейся  
вакуумом света на подножие каменистых холмов;  
одиноким песней выжженных трав всю жизнь искать свою тень.  
Смотри, как солнце украсит палитру блюза, сыгранного в проёме окна,  
на растаявших занавесках; мягкий полдничный ветер  
ляжет в ладони пылью поцелуя; время подарит вечер –  
вечер напишет чернилами сонных глаз предисловие к ночи;  
ночь украдёт твою тень;  
а в хрустальных глазах – течение времени –  
жертвенный огонь осени, чередующийся с пробуждением весны,  
полярные льды и рифы северных струн, роняющие  
бриллиантовый свет на уснувшее дно древнего океана,  
прессинг стеклянно-стальных декораций  
в атмосферных потоках облачных пилигримов  
и отражение недосказанного.

Безразличие окон, дверей, стен, глаз, губ, рук, движений, дыхания,  
встречных следов – но солнце, всё также стремится на запад,  
и звёзды падают с чёрного неба в мечтательность южной ночи,  
поселившейся во взгляде цыганки; и кто-то кому-то скажет –  
люби меня, ненавидь меня, убей меня, оживи меня, найди меня,  
потеряй меня, вознеси меня, раздави меня, люби меня,  
если имеешь окна, двери, стены, глаза, губы, руки, движенья,  
дыханье и теплую ленточку встречных следов.  
И ты здесь, о, надежда – дочь отчаянья – изрезанное сердце –  
самый прекрасный цветок на алой ткани души –  
твоя глубина спряталась на кромке сорванного лепестка розы.  
Посмотри же на остатки белого порошка зимы,  
крупницы бессмертного сна на сапфировых пальцах умирающего  
шамана-сновидца; посмотри на расплавленный шар золота

в тигле неба; посмотри на ползущие из берегов изумрудно-глинистые  
аспиды рек; посмотри на молитву опадающих листьев-писем,  
адресованных заходящему солнцу; посмотри на своё отражение  
в капле росы на ресницах возлюбленной.

Но вот, зажигается чей-то голос в ночном кипятке,  
под сентябрьским листопадом, будто шепчет кленовый лист:  
кто ищет, тот найдёт, найдёт и потеряет, ведь, дар обладания  
убивает силу мечты, надежды, предвкушения, и насытившаяся жажда  
беззвучно исчезнет, уступкой новой жажде – лишь тот всегда имеет,  
кто ничего не ждёт, кто ничего не ищет –  
так ручейком струится осени баллада  
перед потухшею свечою фонаря,  
играя, как губами,  
прожилками янтарного фрактала,  
ритмично падая в сырой землистый дёрн,  
в могильную прохладу –  
фиалкой ночи вздрогнет голос мой вослед.

И я увижу хвосты пепла, блуждающие в эфире,  
у догорающего жертвенника,  
сложившиеся в хрупкий ряд иероглифов,  
в которых отразятся три любимых слова:  
пустыня, море, боль, пустыня, море, боль,  
пустыня, море и любовь;  
в которых вычерчено:  
падение, словно пепел полёта, свобода, словно тень одиночества,  
и любовь, словно грань суицида, и я – твои глаза, и ты – моё безумие;  
моё безумие с последней капли ненависти влажного ветра  
в тонущих шагах вчерашнего вечера,  
в размытых следах сегодняшнего дождя,  
свившего зеркальную паутину на серебристых складках  
просевшей листвы, моё безумие с последней капли ненависти сырого ветра  
в утопающих шагах завтрашнего уравнения с одним неизвестным –  
моим именем, моим дыханием,  
остывшим безвременьем надорванных проводов.

И пусть постучится дождь, чтобы раскрылись объятья,  
и пусть окрылится смерть, чтобы взошла душа;  
дождь, оплакивающий волеизъявление смерти  
на солоновато-слезных щеках молодой матери,  
познавшей тайну рождения;  
дождь – наука ценить бессмертное одиночество,  
выдыхающее через щелочку дверного замка;  
дождь – проповедь забвения, исповедь всепрощения;  
смерть – глаза ребёнка,  
устремившего кристальное бесстрашие восприятия  
на старый яблоневый сад, свисающий листьями света  
с приоткрытого неба июля;  
взгляни, взгляни, смерть, такая же неизбежная вещь, как и дыхание.  
Разве ты боишься дышать?

Музыка, обнаженная до кости

О, муза, обнаженная до кости,  
Твой героиновый оскал, цветочный труп,  
Твой век никчёмный и твой спёртый воздух  
Я пью с пунцовых тряпок нежных губ.

О, муза – аромат канав елейный,  
Треск подворотен, звон разбитого стекла,  
Глоток вина и едкий дым постели,  
Постелей едкий дым, глоток вина.

В глуши облупленного свода грязной ночи  
Трепещешь саваном, холодная душа,  
И в язвах звёзд, от вьюги кровотока,  
Кричишь отчаянно – грешна, грешна, грешна...

Лежишь и корчишься под кривизной ограды,  
В плевках крылатой, чуть расплывшейся строки,  
Как вязкий след слепого променада,  
Как остриё дрожащее руки.

В тебе, о, муза, обнаженная до сердца,  
В тебе, о, сердце – потроха ночных небес,  
Покой и смерть не същут себе места,  
И тщетна склонность к перемене мест.

Сиюминутная слабость, доведённая до совершенства ожога

Что может быть важнее печали и чище слёз,  
бессмертнее смерти и ненадёжней дыханья в груди –  
горсточка горечи на язычке кисти, скользнувшей  
падающей звездой в недописанную картину  
по живому сердцу.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь –  
кружится часовой механизм, проверяя на прочность  
вестибулярный узел. Кто умирающему мгновению  
подарит вторую жизнь, подарит бессмертие,  
как не тот неистовый нищий, расточительный на порок,  
но жадный до невинного взгляда безумца.

В земле, излитой росой зари, в мокром песке,  
в зеркале неба, в растопленном снеге, в лучах родников  
и сонной влаге тумана утопает ладонь живописца,  
рождая шлейф созерцания обнажённой плоти природы,  
застывая перспективой сердца,  
каменя огранкой масляной краски  
в конечном пространстве холста.

Художник – человек, приручающий время,  
время благодатного огня осени в искрах листвы,  
в пролётах скамеек, занесённых жёлтой пустыней,  
в паузах, между прочтением снов; обращающийся  
в сердцебиенье секундной стрелки, в призрак ветра  
в галереях заброшенных парков, в тающий лёд заката  
и его опалённые крылья, словно учащийся считать  
каждый надломленный шаг, ведущий к разлуке.

Художник, твоё дитя – ночь и наслаждение страданием,  
исповедь дьяволу и история знахарства,  
дионисийский катарсис, перерастающий в самораспад  
и ритуальное самосожжения на алтаре безнадёжной страсти;  
всё пройдёт, всё станет глухим отголоском звёздных садов,  
всё ляжет усталой лиловой тенью к надгробию вещей гор,  
и лишь тонкой чертой тусклого горизонта  
озарится правда души – карминный автограф боли, и время –

творец, убивающий своё творение  
во имя его жизни.

Обернись, ювелирный луч сентября, расшитый золотом и серебром,  
упадёт на сырую подошву земли – время творить;  
бронзово-медный лес замкнёт границы туманного взгляда –  
время творить; стеклянные губы дождя поцелуют болотной влагой  
слоновую кость заплывшего неба – время творить;  
в ржавом скрипе дорог растворятся душой  
перелётные стаи мыслей, дат, облаков, тревоги и грусти,  
послевкусием лета осядет сладкий дым прибрежных костров –  
время дарить нежность,  
собранную на дне остывшей реки.

Остановись, горловое пение сквозняков выведет тело на чистую воду,  
ломаю барьеры между болью и "Я",  
переведёт природу чувства в пространство осенних элегий,  
в плоскость шафрановых клякс на фоне оконных луж;  
триединое – запах лаванды, запах желанья, прикосновение огня –  
замрёт последним штрихом на клочке измятой бумаги;  
настольная лампа вздрогнет сиюминутной слабостью,  
доведённая до совершенства ожога.

Смиреной тенью листопада

Слова неслышные дождём я окроплю,  
Как осени разбросанные тени –  
Нет тяжелее сна, чем наяву,  
Нет злее пламени, чем страсть и вдохновение.

Слова негромкие я ветром увенчаю,  
Как листопада канареечный пожар –  
Нет лучше мудрости, чем мудрость умолчанья,  
Нет лучше доводов, чем смерти нежный дар.

Слова, слова, как пёрышко над бездной,  
Пустынным эхом в дверь полночный стук –  
Нет подлинней, чем брошенное сердце,  
Нет откровенней пепелищ разлук.

Проснулось солнце, вылизав до крови  
Глаза полузакрытые, чтоб я,  
Смиреной тенью, листопадом, болью,  
Открытой раной в небе сентября,

Пустынным эхом в преломлении ветвей,  
Наедине, в глухой молитве ветра,  
Еще раз попытался стать сильней,  
Сильнее страсти, вдохновения, смерти.

Слова неслышные я ливнем напою,  
Слова негромкие я ветром увенчаю,  
Слова, слова, как листья на ветру,  
В них нет честнее пепла и печали.

Тридцать зим

Мне тридцать зим –

четыреста семьдесят пять миллионов вдохов,  
столько же выдохов – отсрочек судьбы  
до встречи с Тобю, Господи; моё дыхание –  
тридцать витков вокруг солнца; моё сердце –  
ядовитая чаша вина, выдержанного в подвале осени;  
моё счастье – откровения жребия сиюминутности,  
познающие роскошь и нищету.

Ты чувствуешь плоть, выкованную в сердце умирающей звезды,  
доведённую до инстинкта, и возведенную в ранг поэзии,  
боль, вырванную из утробы матери;  
ты чувствуешь душу, брошенную на растерзание плоти –  
бессмертие, проклятие и искупление?

Не ласки и тепла просила моя плоть,  
не приторности – сердце; а требовали боли и расплаты,  
чтоб сострадание из смоли глаз извлечь,  
терпение и пот копить осенний, слова одушевлять дождём  
и струны рвать, а после таять льдом  
в ладони марта;  
а там, там ночи сумрачный посев  
Селена собирает в снопы созвездий тусклых;  
там оставлять притворство, фальшь, обман,  
и постигать пределы одиночества,  
пределы одиночества всех мыслей,  
чтоб улетучиваться в грёзах ни о чём  
на захолустном побережьи вселенной.

О, грунтовые воды ночи, распятый на звёздах взгляд,  
набухшие ноздри смолистых сосен, хореография волн  
под серебряно-винной аркой луны,  
пьяный камыш, встревоженный  
бессонницей ветра –  
но я знаю, что скоро проснусь, и снова забуду всё,  
если, только не запишу  
на бересте рассвета  
оттенки растаявших слов с надорванных губ простыней.

Лови момент – всплеск опущенных рук, словно неба ласточка  
свесила крылья с плеч горизонта;  
вспышкой утра соломенный прутик света  
вдет в излом грозовых облаков,  
и спрятан в пыльной грозди кустарника;  
всплеск бродячих арпеджио меркнущих крон вдоль дороги;  
вдоволь жёлтого кашля изволь, соскребая  
с известки лица Возрождения фрески.  
Лови момент – в млечном бархате мглы сентября  
пробьёт брешь неживое солнце –  
покурим на задворках лета, у маячка дрожащей паутины –  
автобус опоздал, а значит все мы  
на конечной остановке.

Примкни – джаз-банд из дребезжащих окон и тонкокожих нервов  
вскрывает без наркоза сезон дождей и смога,  
законсервированный холод в склепе глаз.  
Здесь бляшки листьев, стручья трав и тромбы туч, труха дороги,  
скорлупки крыш щербатых, лязг простуженного горла,  
и холм с проломленным хребтом, и корка лунного зрачка,  
и мошара протяжных ноток, и сны берёзовым тряпьем;  
и кислицей вина рыбины стон тумана; и полумраком



из заросшего барака черепной коробки –  
осень, лирика, похмелье,  
и проседь луж, и суеверья на соломенных плечах.

И scarлатина ветра, и беспричинный страх,  
и ревматизм кирпичной кладки,  
и сон, с оглядкой на потерю сна,  
сосуд тоски, заполненный дождём,  
и накипь солнца на коррозии ветвей,  
запруда взгляда, червоточины подъездов,  
и голод света, пар свечи, нарывы туч,  
и скрип кровотокащих дёсен веста –  
всё, лишь надежда и игра воображенья.

Так, подметая тенью зарисовки  
подвальных сталактитных сквозняков,  
вдыхай же воздух гнили золотой,  
потупив взгляд, сходи в Аид обобранной земли,  
клубящейся туманной содой,  
на сухость рта кропи росу и сажу,  
и выжатые соки слёз на выжженном пространстве листопада,  
причальный день топи в прибое поцелуя,  
сорвавшегося с чьих-то нежных губ –  
осколки фраз подвальных дневников  
расскажут больше целого романа.

Для бурной страсти – скорая разлука;  
для сладкой жизни – злая смерть;  
вокзал, пустой перрон, билет в один конец  
и время расплатиться по счетам;  
о, время – выцветшие лица на рисунках,  
бескровной страсти дым, обрыв строки;  
а ты, ты пой на языках любых;  
поэзия – душа любви; любовь – заветный ребус жизни;  
жизнь – дар преследования смерти;  
а ты же, под язык –  
вино любви, лёд смерти и аминь.  
Источник веры – капля алкоголя  
на исповеди сухопарых уст;  
раскаянье у тлеющих костров;  
молитва стали между рёбер тёмных улиц;  
очаг надежды – подворотен вечный сон;  
и концентрация любви в огнях борделей;  
о, Господи, прости, за то, что верю,  
прости, за то, что был Тобой прощён.

Я полюбил янтарь деревьев ломких

Взбешённый листопадом, призрак  
Заката утопает в речном иле;  
Я собираю нежный яд с вечерних листьев,  
Где каплю грусти сердце обронило.

Смочив разлуку виноградной гроздью,  
Пустую воду встреч – до дна, запоем;  
Домашний свет на занавесках вышьет осень,  
И старый плед забвением укроет.

Эфирным маслом пятна по бумаге

Сырого воздуха – набросок незнакомки;  
Бледнеет тополь в густоте оконной влаги,  
И месяц точит раму острой кромкой.

Под сводами набухших чёрных кровель  
Ютится светлячком, в подтёках свечи,  
Моё невинное желание безволья,  
И вечный листопад, и вечный вечер.

Нежнейший яд, сок виноградной грозди,  
Набросок незнакомки, крыш венчанье;  
Спускаясь перышком, ночной капризный воздух  
Вскипает кровью леденящего молчанья.

Пусть жажда множится и брызжет на дорогу  
Микстурой новых встреч, разлуку лечит,  
Бежит судьбой по утреннему смогу,  
Но я останусь, навсегда, где вечный вечер.

Перебирая чётки листопада,  
Я полюбил янтарь деревьев ломких;  
И рябь свечи – осеннюю балладу,  
Когда любовь – набросок незнакомки.

Растопленный лёд в прожилках старого клёна

В прожилках старого клёна, обнажённым нервом любви,  
кольшется осень, таращится в небо,  
вращаясь глазным яблоком забродившего солнца;  
подшвы глотают лимонную пыль; движения,  
словно метафоры беспричальности на костылях золотого ветра;  
изрезанная кора  
увекочивает подростковую лирику;  
корона ветвей венчает на царство прощальную песню  
багровых костров уходящего дня.  
Осень – её полночное ложе, её сердце, её дыхание –  
растопленный лёд призрачных родников;  
с шёлковых лепестков её губ,  
с белоснежных лилий рук на дождливой груди,  
с огненно-рыжих волос листопада льётся  
неисцелимая ласка.  
Медные струны вечера тревожит бархатный смог  
догорающих листьев; рдеет винный дымок аллеи;  
фрагментарная вязь пролетающих окон выстраивается  
в тонкую паутинку тихого света.  
Стоп-кадр слепоты на виселице промокших ставней;  
анимация стен, одушевлённых сдавленной грудью  
осыпающегося пространства;  
зародыш золы, свернувшейся бабочкой в тёмном углу;  
погашие перекрёстки, вязнущие в сетях засыпающих проводов –  
всё это, душа, крадущаяся на мягких подушечках ночи  
к пейзажному бездыханию в прожилках старого клёна –  
всё это, воскреснувшее отчаянье,  
впадинкой вдохновения  
на треснутом мраморе античного созерцания.

Перекрёсток

Как бесконечность тишины – эти глаза;  
Как терпкость вин осенних – эти губы;  
Как воздух синей горной дымки –  
слиянье глаз и уст;  
И мы стоим на перекрёстке горизонта.  
Как вишни плод – вечерний свет сердец;  
Как чешуя реки – скользит в ладонях небо;  
Как серебристый мотылёк – глоток дождя;  
И мы идём навстречу снегу,  
без оглядки...

#### Перекрёсток. Фраза вторая

У разведённого костра вечерних облаков –  
твоя ладонь;  
У догорающей листвы сентябрьских дорог –  
моя рука;  
Мрак неразгаданной луны на дне окна –  
рука в руке;  
Туман, уснувший на ветвях – ладонь в ладони.  
На слух – иль стон, иль тишина – всё облака;  
Навзрыд – надежда, или боль – всё листопад;  
Окно погаснет в ту же ночь – в руке свеча;  
Свеча истлеет, как туман – в ладонях свет.  
У ночи спящего костра, в золе листвы –  
ты пишешь, язычком свечи, гаданья по руке.

#### Противоядие

Вино, созревших под солнцем печали, слов,  
вино любви, стремящееся к недоступному языку,  
к черновикам Творения на чёрной кляксе засыпающего неба –  
есть истинное искусство в просыпающемся пространстве взгляда,  
его болезненно-чувственная красота –  
такое естественное состояние пить пенную воду жизни  
из-под жемчужных стоп Афродиты.  
Воздух любви, отравленный неживыми цветами глаз,  
запахом ядовитой смолы алкоголя и узорами табачного бархата –  
всё равно – воздух любви, любви, что так искренне ласкова  
и нежна в своей незащитности.  
Тихая гавань у дождевого прилива;  
дым промокшей листвы под плесенью неба;  
вечный огонь вечной хандры, осязающей осень;  
ветер, как привкус нагой плоти; ледяной металлический блеск  
в заусенце зрачка – и всё равно, неотступное –  
воздух любви, вино любви, что так беззащитно нежны.  
В беззвучном падении на дно адриатической ночи,  
в импровизации бесшумных шагов по снежной корке  
альпийских склонов, в сновидческой кристаллизации  
полярного блеска – сколько бы не находило  
исписанное под обрыв сердце имён – имя одно – любовь.

#### Отголоски живого хмеля

Влачится мертвый разум мой –  
познать, познать тебя!  
И, пусть познания древо – древо смерти,

но посмотри, как чист и светел лотос,  
благословляющий иллюзию мою.

Я оступился – и тебя прославил –  
упрятанный в свой ад,  
и оттого, всё легче плоть в обличии страданья,  
и я страшусь здоровья, но не мук.

Ты, как искусство, существуешь –  
самой себя лишь ради;  
ты, как материю, мой взгляд,  
лишь терпишь, но не признаешь.  
Из близости – печаль.  
Как сладостна!  
Позволь молчать!  
Живого хмеля руны постигая,  
прильнув к тебе на сердце,  
плывущая по морю бытия  
на зов – напев жемчужный.

И умирая, обнимать дыханьем слабым  
ночь, что, казалось, будет вечностью для нас,  
когда день смерти лучше дня рожденья.

#### Муар

Чистым пламенем дышит вечернее платье,  
Чистым золотом вышит осенний воздух,  
Ручейком льётся свет приглушённых объятий,  
Мы стоим у окна, у рассвета дождя.  
Бриз листвы, шёпот свеч, губ прохладная влага –  
В уголках – тень молитвы, как нежная роза,  
Ветер лодкой скользнёт в ветвях лунного сада,  
Расплескав туман по дороге.

Лёгкой слабостью – трепет рисунка ладони,  
Мягкой сладостью – близость зеркального взгляда,  
Теплота наготы накрывает прибоем,  
Безнадёжное море у ног.  
Шум огня, бархат следа, молчания чаша –  
Что вбирает попутную тьму, словно ладан,  
Крик осенней души листопадом развяжет  
Ком в груди – мотыльком вспыхнет сердце.

#### Рождение Венеры Боттичелли

Предрассветный воздух; тихо плещется  
изумрудная чаша моря;  
позади, наготой упивается берег;  
юный Эрос мерещится;  
справа шёлк апельсиновых веток;  
рядом нимфа с пурпурным плащом,  
спешащая к новорождённой,  
что на гранях жемчужной ракушки,  
из пены морской,  
отрешенно,  
вбирает хрупкость и нежность  
черт Симоннеты Веспуччи;

слева сеют дыхание роз  
объятья зефиров,  
благоухая расцветом любви;  
говорящая сладостью плоть  
льётся музыкой тонких деталей;  
розы падают в ритме волн,  
в ритме мягких линий юного тела  
и прядей волос;  
совершенство со стебля цветка Тосканы  
заполняет лазоревый воздух;  
в глазах – свет полнотной печали,  
подлунных тревог и сомнений,  
несчастье и счастье, мечта, озаренье,  
изящное сладострастие,  
расточительность нежности света,  
и болезненный росчерк поэзии,  
где проблеск взгляда,  
больше луча солнца.

Брамс. Prelude aAd Fugue iA A miAor

Дуновение лейпцигской школы;  
соцветие венской классики с красками романтизма;  
свобода ритма и фразы;  
синтез эпохи;  
под пространным куполом полифонизма –  
осколки лунного света,  
вскрытая грудь горизонта,  
обнажённая плоть восхода,  
органное сердцебиение дня,  
и я уже вижу, как дышит  
воздухонагревательный  
механизм,  
частокол деревянных и металлических труб,  
как дрожит шеренга ручных и ножных  
клавиатур, рычагов и кнопок;  
как объём изливается на меня  
фантазией эха,  
интенсивностью фресок и витражей  
собора сердца  
последнего  
придворного  
композитора;  
меха, трубки и трубы,  
обильная роскошь звука,  
многоцветный аллюр  
осеннего ветра,  
галерейно-небесная выразительность  
инструментальных губ –  
как будто бы слышишь, воочию;  
и между нот –  
закравшийся образ  
обожаемой Клары Шуман,  
словно нежное многоточие,  
словно, судьба.

Сикстинская Мадонна Рафаэля

Паломничество в Дрезден.  
Пронзает взгляд – как отдалённый ветер  
с вечерней плёнки моря –  
царица неба в человеческом обличи,  
стоящая на пыли облаков,  
босая, в сонме ангельского хора,  
заполнившего неба полотно,  
в естественной близости и неприступно,  
благоговейно, нежно, и подобно  
поэзии, будто сама душа  
и родниковое дыхание живописца,  
будто сама его печаль в её лице,  
державшая младенца, как крестьянка,  
в плаще из голубиной, мягкой ткани,  
объясняя глубокое пространство,  
как вещей воздух,  
царица неба, свет предгрозовой,  
свечение таинства и беспокойство розы..

Паломничество в Дрезден.  
В тяжёлых, золочёных складках  
одежд святого Сикста,  
старика-волхва –  
тень преклоненья;  
безропотность в глазах святой Варвары –  
взгляд, отведённый в пустоту тумана;  
волненья призрак в изумрудах драпировок;  
и буря в отражении лица  
младенца на груди Марии, там,  
течение светлой боли –  
непостижимость, радость и единство,  
как благородство льда, как солнце ночи.

Паломничество в Дрезден.  
Она несёт навстречу людям сына,  
зари святую кровь,  
и одиночества благую весть,  
и где-то здесь, внутри, уже глаза  
от слёз свежи,  
так горько рвутся струны  
под нежностью, тревогой и бессильем,  
так сиротливо движется кортеж,  
на скорбь и жертвенность  
в прозрачно-лучезарном,  
клубящимся виденье чистой бездны,  
в холодных отголосках лиры мира –  
нет, это не для глаз, лишь для души,  
для раненого сердца;  
сомкнётся тишина; словам, одно – грешить,  
ведь что слова – эфирный прах и пыль  
от облаков в босых ногах Марии.

Гайдн. хоAcerto for Flute aAd Orchestra iA D major

Полёт июньского облака сквозь тёплый занавес полдня.  
Нежный тон побережья, впитывающий палитру прибоя.  
Восход янтарного солнца над хмельной головой Пана.  
Молитвенная сосредоточенность  
раскрывающегося устья рассвета.  
Трепетный шёпот цветов под кистью горячего ветра.  
Сок набухающих почек. Тень кипящей листвы.

Тропинка, увитая кроткой мелодикой трав.  
Оклик жаворонка. Ручеек тонкоструйной флейты  
в совершенном одиночестве горного сна.  
Растёкшийся симфонизм тумана  
на трещинках лунного зеркала. Дымок от кальяна  
звёзд, раскуренный парой влюбленных глаз.  
Сад, наводненный светом, пением, сладким запахом воздуха,  
духами густых контрастов, пластикой, богатством осенних красок.  
Изоощренные строчки нот, пропетые солнечным ливнем.  
Интенсивность, остроумие и колорит,  
вырванные из сердца придворного капельмейстера,  
льющиеся фольклорным мотивом странствий, любви,  
бури, натиска, жажды и яркой свободы руки,  
зажавшей в ладони оркестровое эхо.

## Персей и Андромеда Рубенса

Ты здесь, вечно юная сила – античное божество?  
Ты здесь, воплощение грации и красоты плотской формы –  
богиня древней Эллады?  
Грубость и невоздержанность, полнокровие и темперамент  
фламандской кисти, стихийность и мастерство,  
внутренняя динамика каждой линии,  
нарастающий ритм, напряжение –  
вихрь, вырвавшийся извне,  
в единый поток свернувший курсив движений –  
ты здесь, ты дышишь, ты ждешь восхищённых глаз;  
в гармонии красок, в мощи рисунка,  
в чувственной радости, в наслаждении,  
в растущей луне обнажённого тела,  
в цветущем дурмане густой палитры,  
в прозрачности света и в лёгкости  
утративших чёткость фигур,  
от жидкой краски по теплomu светлomu грунту.  
Ты здесь, у скалы, где хлещет кровь и вода из пасти ехидны,  
где грузная Андромеда, вспорхнув созвездием молодости,  
разбросала тысячи брызг притяжения,  
и темный панцирь сына Данаи,  
оттеняет сладко-снежное тело,  
словно живое движение тона;  
где гордый Пегас, выгнув аркой прекрасную шею,  
вдохновенно раскинул крылья; где фривольный  
мальш амур еле смиряет богиню Викторию,  
в убранствах, вьющихся облаком,  
с пальмовой ветвью, с лавровым венком,  
венчающую апофеоз триумфа Персея  
до полноты ликующей жизни...  
Воплощение чувственных линий,  
насыщенных слепками мифов, химер –  
античный кумир, богиня классической Греции –  
ты ведь незримо и здесь, в кристалльных молекулах воздуха, в бронзе зрачков  
застывшего живописца в просторной блузе,  
с палитрой у ног, в шароварах и сапогах,  
встречающего приветственно всякий попутный жест  
Антверпена.

Полная глухота, полная глухота – она же – твоя философия,  
драматизм симфонизма, темперамент, блеск, богатство и глубина,  
масштаб, неистощимость мятежного духа,  
размах, динамика, темп, контраст,  
экстремумы восприятия, экстаз и молитва –  
нерушимая глухота, нерушимая глухота –  
с кончиков пальцев льются зеркальные отблески  
фортепьянной сонаты, искры борьбы с тканью звука,  
отголоски неразборчивых черновиков.  
Свинцовая тяжесть волн.  
Заговорили метель, ночь, треснутый лёд чёрного неба.  
Налились вечерним вином глаза, и вспыхнул мозг  
умирающей полусферой граната исчезающего горизонта.  
Сломанный ветер расправил связки нордовых крыльев  
и опрокинул дикую нежность восторга, дерзкое игрище  
рваного пламени, фиолетовый рёв неизречённой мглы.  
Безлюдное откровенье пустыни,  
обрамлённое золотой слепотой песка.  
Опавшая алым созвездием дня  
роза в груди прохожего пилигрима,  
впивающаяся шипами боли и красоты  
в грудную клетку туманной дороги.  
Глаза, уставшие от отражённого камня,  
камня света на мёртвых фигурах фасадов.  
Воздушно-дождливая осень в листопаде свинцовых окон.  
Дрожащая тень руки у источника полдня.  
Великая жертва, пепел прощения и раскалённое олово слёз.  
Женщина, подарившая ленточку поцелуя объятьям горькой весны.  
Колоннада аккордов, рассекающая тишину –  
голос преодоления, зрелище красноречивых масок и бойких на слог тонов.  
Река времени, окрылённая веером неотвратимой смерти,  
кипящая последней надеждой, последним вдохом прозрачного холода.  
Сны безумия, одержимость судьбой, возмездие, отчаянье, сопротивление.  
Шаги пустоты за абсолютной стеной, и нестерпимая  
полнота жизни, обращающаяся полной луной одиночества.  
Болезненный натиск ударов сердца в глухое пространство,  
окоченевшее кристаллическим терном звёзд,  
ночной монолог, выстреливающий полнокровной зарёй прощания.  
И тихая, чуть слышная песня любви, как бальзам, как кроткий уют,  
как черта у заключительной ноты ярости и смирения,  
когда чувственность слуха – на пределе человеческого понимания;  
когда растрепанную чашу волос наполняют мотивы венского шторма,  
а на клавишах фортепьяно – дыханье размытых следов  
Гейлингенштадтского завещания;  
когда полная глухота – есть совершенство слуха,  
отливающееся металлом скорби в десяти тысячном марше  
проводящих в путь к последней гармонии.

Лютнист Караваджо

Что там, под тёмно-зелёным сукном?  
Воздух Рима, Неаполя, Мальты, Сицилии,  
вызов эстету, битый античный мрамор,  
истина без идеала,  
натура, уличная толпа, лихорадка,  
напряжение и естество, пьяная  
музыка, не знающая покоя.  
Лицо, это лицо, смугло-румяное, перебегающее  
с одного холста на другой



в смещении черт;  
это лицо, лицо играющее  
черноплодным цыганским взглядом  
под широкими ветками  
тёмных бровей,  
в котором нежно слились,  
мгновенностью чувства,  
непослушные волосы, полные губы  
полуоткрытых уст, двойственный ветер –  
капля восхода на лепестке заката.  
Руки, эти руки, их удлинённые пальцы, перебирающие  
хрустальные струны лютни,  
словно древний отзвук востока,  
словно вечная женственность,  
залитые гладким, рассыпанным, чуть золотистым светом,  
теряющим след в глубине;  
он тает, тает, тает,  
он – мечтательность жизни, оседающая  
вином и любовью  
в цветах на столе,  
в прозрачных стенках сосуда,  
в пожелтевших страницах нот,  
в протяжных изгибах скрипки,  
в пышных складках меловой рубахи;  
он – простота, энергия, пластика,  
сама природа, пламенность,  
новая красота жизни,  
обличённая бывшим каменщиком,  
Микеланджело,  
растиравшим краски в Риме рисовальщикам фресок –  
теперь, он играет на лютне кистью,  
играет эффектом света во тьме,  
тонко, тонко, воображаемо неудержимо.

Шуман. I AtrioductioA aAd Allegro appassioAato

Журчанье ручья, предрассветный шелест травы,  
разорвавшийся свет глубины неба,  
струящий нежность в густые махты деревьев,  
напряженье листвы во вздохах острого ветра,  
акценты сердца, разбившие панцирь сна,  
розоволицый танец солнца  
на лёгком облаке сиюминутности,  
изобилие красок и форм в галереях радужных окон,  
крик Флорестана, смиренная тень Эвзепия,  
самозабвенный бунтующий дух, нетерпеливый жар,  
тонкий лиризм, каприз и ирония,  
фантазия, доведённая  
до галлюцинации,  
до самоубийственно  
холодной воды Рейна, до смерти,  
расписавшейся сумрачным сумасшествием в Бонне,  
развившей из похоронного марша  
величественное  
победоносное шествие  
вольнлюбивого романтизма.

Олимпия Мане

Олимпия, Олимпия – цветок весны, бурлящей жизни плоть,  
румяна маков, мёд вечерних грёз;  
как у Бодлера, женщина и кошка,  
одна из вариаций музыки, музыки, поэмы;  
как новая Венера, тончайший почерк наготы  
на снежных покрывалах,  
плод юной красоты, отброшенный на полотно  
дыханием живого тона.  
Почти задвинута портьера, в просвете –  
спинка стула, неба всплеск;  
у ног – миниатюрная пантера,  
душа и пластика ночного ветра, блеск  
загробного, внимательного взгляда,  
что прожигает кожу холста,  
и пристально хранит  
мир хрупкой госпожи, мир нежной розы;  
но в плоскости иной, за полотном,  
смотри – невежество, вбирай – презренье,  
блудители и стражи, отверженный салон,  
вульгарные намёки, глумливые объятия толпы,  
грозящей костылями, глина  
скабрезного словца из глоток беглых,  
плевки, симфония проклятий,  
венец скандала, критики огонь,  
и заключение, на четверть века,  
в квартале Батиньоль;  
затем шестнадцать лет, безвылазно –  
мертвецкий сумрак Люксембургского дворца,  
и тихое, как след ночного вора, бегство  
в змеиный лабиринт, в надменный Лувр...  
Олимпия, Олимпия – пляда,  
блеск обнажённой жажды, мириады  
метаморфоз, прекрасная тоска  
посмертного признанья Эдуарда,  
соблазн, текущий неприкрытым взглядом  
по ароматной коже холста.

#### Голубые танцовщицы Дега

Свечение голубого –  
инкогнито, чувственно, холодно невозмутимо,  
в единстве цвета и линий,  
словно пульсируя монотонным ритмом Парижа,  
в феерии и крушении иллюзий реального мира.  
Свечение голубого –  
в арабесках жилистых шей, напряжённых локтей и спин.  
Потаенная сладость, вскрытая глазом  
через замочную скважину –  
там мерцание девственных красок, противоборство света и тени,  
синий перетекающий в изумрудный,  
вслед утомлённой грации  
рядовых, повседневных богинь балета, что единым целым,  
в созвучии нарастающего вращения  
газовых юбок, волос и лент,  
розовых туфель,  
еле коснувшихся пола, как воздуха,  
непринуждённой, свободной мелодией танца  
вторят пластике освещения...

Шуберт. Ave Maria

Мягкость взгляда, нежная скорбь,  
ласковый свет печали,  
небесные ясли, туманно-лунная кровля,  
теплота отзывчивых рук, молитвенный шелест свечи,  
мелодический дар, смиренная грусть,  
радость надежды, душа одиночества,  
прозрачная хрупкость безмолвия,  
ритмический срез облаков, парящих лицами  
седобородых святых и ангелов в ультрамариновой бездне,  
огранка солнца, глубоководность пространных вздохов органа,  
созерцание чуткого сердца на тонкой нити мгновенья,  
божественная длиннота,  
хрустальный отблеск новорожденного романтизма,  
как предвкушение ранней смерти поэта...

Оперный проезд в Париже Писсарро

Париж, Отель "Лувр", вид из окна –  
дождливо, мерцающий зонтичный улей,  
цепь экипажей в дымке, вода  
над мостовой растворённой колдует  
красками, бликами, жемчугом, россыпью;  
влажный туман серебром, суета;  
тает Париж в глубине жёлто-розовой,  
перспектива, как тетива.  
Париж, многоликость, поток мутных пятен,  
камерность, дрожь, масштаб, люди-тени,  
сдержанность и равновесье, изъятие  
чистой поэзии, чистых мгновений  
мглистой зимы из серого камня,  
полутонов из ритмов кипящих;  
память, здесь памяти осень – сиянье  
воздуха из ненавязчиво-спящих  
старых кварталов, фонарного газа  
шум, что в пространство стихами кричал..  
Париж, зимний почерк, дождливая фраза,  
и точка – ослабшего глаза свеча.

Исповеди. Шёлк

Покорно слушаю, как волны, разбиваясь  
О сердце, неба чистую печаль  
Выносят на полуденный причал;  
И тень утёса, шёлком отливаясь,

Скрывает мой неспешный монолог.  
Одна минута, стоящая жизни,  
Один вдох соли, больше всех капризных  
Движений воздуха в могильниках дорог.

Я – время; я – болезнь; я – время года;  
И когда груз зимы взвалю на горб,  
Я превращусь в свечу полдневных вод,  
Я стану памятью тенистого порога.

Я стану пёрышком, застывшим на ветру,  
Осенней свежестью из влаги листопада,  
Я пропишу себе покой, тоску прохлады,  
Природы красоту и пустоту.

Покорно слушаю, как тает волн молва,  
Как глаз колеблет в слепоте свинцовый отблеск;  
Моя работа, мой смиренный хлеб, мой воздух –  
Природы боль и нежность на слова,

На музыку никчёмных слов и строчек  
Затмением положить, зарыв навек  
Окаменевшим впечатленьем сонных век,  
А дальше – плыть; а дальше – плыть, как прочерк...

Исповеди. Осенний монолог

Стихла боль, значит, вечер прилёт на краю  
Пожелтевшего сада, печального пепла  
Облаков зачерпнув в ледяную ладью,  
И налившись полынью луны безответной.

Стихла мысль – это смерть, или что-то вдали,  
Как пылинка в глазу, дарит слёзы разлуке,  
Словно свет неземной, словно те корабли,  
Что рукой горизонта касались, и руки

Обожгли вечной ночью и сумраком звёзд,  
А у ночи есть имя, ей имя – прощанье,  
А в прощанье – прощенье, безмолвие слёз,  
Нежный опыт любви обронённый случайно.

Стихла боль, значит, сердце свой оборот  
Совершило окрест пожелтевшего сада,  
Тень крылом журавлиным взмахнула, полёт  
Подытожив рисунком на влажной бумаге.

Стихла мысль – это грань, иль безбрежная тьма,  
Как души мёртвый лист, в чернозёме убогом,  
Словно я здесь один, и лишь свет у окна,  
Тусклый свет неземной осветивший дорогу.

Лёд зрачка, как светляк в тишине, привкус сна,  
Ночь даёт обещанья, их утро подвинет,  
Взгляд рассеется ветром, как свет у окна,  
У окна, застеклённого лунной полынью.

Стихла ночь, стихла боль, стихла мысль и стихи,  
Все наброски, и все отголоски бывшего,  
Мне разлука с лихвой отпустила грехи,  
Чтоб молчание стало весомее слова.

Исповеди. Долгий закат

Долгий-долгий закат, янтарный блюз,  
малиновый свинг, лиловый слайд,  
оранжевый риф, алый кровоподтёк

выброшенной на берег медузы,  
экзорцизм, дрейф, драйв, обряд  
посвящения, крик шамана, пророческий  
апокалипсический шёпот в миниатюре...  
Я, легкой тенью, танцую вокруг своего одиночества,  
вокруг обнажённой натуры  
неба, схватывая сердцебиение  
горизонта, которому в глотку льет  
раскалённый металл солнце, и вены  
сжимает первая ласточка звёздных трущоб.  
Долгий-долгий поцелуй на ночь,  
все счета оплатит памяти полумрак;  
я люблю, когда бесконечно падаешь,  
крошишься ливнем, распадаешься в шлак  
жухлых листьев на влажной корке земли,  
где для любви есть, и силы, и время,  
где для раздумий – ночи и дни  
проносящихся облаков, и адамово семя  
снова, будто бы вызрело непорочной  
близостью, и будто чужая душа роднее,  
чем кажется запотевшему глазу...  
Долгий-долгий, катящийся к ночи,  
шар кипящего, через край, газа –  
отпечаток пальца на пульсе солнечной системы;  
моя система координат – сарай стихов, раны  
на спине пересохшей саванны,  
кусочек не долепленной глины  
на кухне, восковая минута молчанья  
перегоревшей свечи,  
чертополох запятых, кавычек, мгновенье  
захода солнца на кисти рябины...  
Не говори мне – тебе это надо?  
Лучше брось в меня камень...  
Лучше брось в меня каменный взгляд  
осенней, перебродившей в вино, наготы;  
или, лучше, когда пойдёт ливень,  
когда заиграют в салки  
брызги зеркального олова,  
возьми охапку коричневато-жёлтой листвы,  
словно прядь мокрых волос любимой,  
и осыпь себе голову...

#### Молитва камням

Приходи, помолиться камням, в заброшенный сад –  
где вишнёвая вязь, и лунные руны, и ночь на груди  
уснула, породнившись с бурьяном, где ветра набат  
собирает бродячих собак, где неба оклад,  
так беспечен и чист, что рукою подать  
до зенита, и искрится прохладой листвы  
ленный воздух, где застывший навечно уклад  
упраздняет пространство и время, где сны  
наяву видно в каждую щель, где огни  
потерявшихся строчек горят,  
словно в зное осеннем плоды,  
где душа, чуть дыша, неслышно болит,  
ниспадая на ложе травы, как туман,  
и журчит родником серебра, что струна,  
преломляясь алмазом воды,

чей-то голос внутри, знакомый, как даль -  
помолиться камням, в заброшенный сад,  
приходи, приходи, приходи...

## UAtitled

Провожу линию, словно ветер кивает с карниза,  
Линию жизни, ветку ноябрьской дрожи,  
Оттеняю узором, по-детски рассыпанных, крошек;

Расскажи, мне графика ночи, в чём смысл жизни -  
Отвечает, мягкой штриховкой, немного капризно -  
Смысл жизни в том, чтобы просто любить свою кошку.

## Меридианы

Где ветер спускает собак, в блеске звёзд срывая пророчества,  
я, лишь пастух одиночества, я, лишь надежда и страх.  
Где сердце от выюги гудит, и нежность, дворнягой под дверью,  
в чёрное небо глядит, я, лишь осколок метели.  
Ночь, на сетчатке туман, талой луны половодье,  
смочит безмолвье гортань, холод натянет поводья;  
тень, как размытая тушь на обескровленных строках,  
сколько не гаснувших окон - столько потерянных душ.  
Скука ржавых замков, желчь фонарей, винный почерк,  
вера, надежда, любовь грязных полночных обочин.  
Писем сухие глаза, трафик зазубренных чисел,  
выцветших книг голоса, как погребённые листья.  
Ветер железом звенит, смерть обручая с желаньем,  
я, лишь грань созерцанья в тихом дыханье молитв.  
Улиц болотная гладь, память - глоток морской соли,  
сердце научится боли, сердце научится ждать.  
Выюга, куда ты, постой; выюга, ответь, в чём мой крест? -  
плоть - породнишься с землёй; сердце - останешься здесь.  
Выюга, забвением света, что же пропишешь мне ты? -  
плоти - химию смерти; сердцу - печаль красоты.  
Кровель блеклая дымка, ночи дремучий рассвет,  
время - оборванным свитком; воздух - забвением лет.  
Кровель немые заглавья, ночи благая весть,  
время найдёт свою гавань, сердце останется здесь.

## Слушая тело

Прислушайся, пусть твоё тело расскажет тебе  
о пустыне декабрьской ночи, о звёздах, теряющих блеск,  
о мечтах, погребённых в пещерах рассудка;  
пусть твоё тело тебе намекнёт,  
что есть и тепло, где-то там, за чертой ожидания..  
О, бурлящая плоть, горящая кровь и быстрая ночь,  
свобода, судьба, жизнь и смерть, лето в терновнике  
заходящего солнца - приметы прекрасной грусти,  
примеры из самого пекла зрачка;  
о, мимолётный дождь, на прощанье разбивший окно,  
разбивший лагерь потухших костров,  
ты тоже немного безумен, ты тоже верный мечтатель,  
как пьяница, озябший от скуки..  
Вода и вкус ветра на радуге тонких ресниц -

это чья-то любовь, напоившая воздух;  
дрожь пальцев и сердце навьлет –  
это нежность, свеча наготы, чей-то пульс в перламутре лугов;  
и трава под ногами, как вечный огонь  
в честь умирающих листьев солнца...  
Прислушайся к ля-бемоль на кончиках пальцев,  
когда раскроешь ладони, и небо протянет руку в ответ,  
словно душа святого – прислушайся, и улыбнись  
сиюминутности сердца...

### Пустыня

Бесконечное море песка, бесконечная цепь тишины,  
бесконечный бархатный зной, бесконечный колодезный холод;  
в паутине обманчивой ночи, взгляд, как шёпот змеиного русла;  
монотонный берег протяжного неба, ручеек облаков в золотистой пыли,  
светотень пустоты и молитва  
первых анахоретов  
с обожжённых солнечных уст;  
иссушение плоти, искушение духа, пунктир горизонта, вдыхающий  
преломлённый драконий воздух,  
очищенный в лёгких Господа ...

### Кукла

Ты сидишь, чуть дыша,  
в стекляшках капризных ладоней  
сжимая капельки мёда и талого шоколада,  
обнажённая плотоядным взглядом свечи,  
в прохладе теней;  
тёплый туман ложится на полную грудь,  
на длинные стройные ноги,  
свободно придерживая  
за нежную талию;  
мягкий, плавный, тёплый туман –  
как поцелуй дьявола во чреве клубящейся ночи;  
ты сидишь, чуть шепча, чуть не плача от счастья,  
отдаваясь,  
с обречённостью первых лучей листопада,  
инстинкту раскрытых окон,  
ветру, срывающему шёлковую простыню..

### Реконструкция памяти

Здесь память живёт, въедаясь в трухлявые брёвна,  
в развилки скрипучих полов, в лягг заштопанной кровли,  
здесь память жуёт жвачку потухших бесед,  
и ветер стучит мотыльком в расщелины окон,  
как ветхое эхо застывших житейских примет.  
Здесь Экклезиаста слова в шелка паутины одеты,  
и вечная тень тщетно ищет глухого ответа  
в останках своих, в костяке разложившейся плоти,  
углы обгрызая, страницы скобля чёрным светом,  
страницы опавшей листвы и желтушно-осеннего пота.  
Здесь пыль – первым снегом, и ночь – тараканьей разметкой,  
здесь сырость – дух моря, а крыш голубиные склепы  
хранят печаль чаек – печать безграничной свободы.

Остывшие угли, поплывшие свечи, дыхание смерти –  
безмолвьем висят узелки ненадежной природы.  
Здесь, в днище зеркал, в битых стёклах, в серебряном звоне,  
дитя скорбных слухов и нежных проклятий, поэт беспризорный,  
крошит череду пьяных строк; здесь таится в бокале вина,  
сгустившемся кровью ночной, невесомое слово –  
дрожащее имя любви, что в окладе окна,  
застыло навечно портретом скупой лунной комы.

Утренняя миниатюра. Нью

Хрустальные брызги воды с твоей кожи играют огнём пробуждённой росы;  
я люблю этот нежный шлейф наготы в ритуальном огне сладких бликов.  
На расстеленном ложе неба – облаков босые шаги –  
ты выходишь из душа медленно, как плывущий муар облаков.  
Ты роняешь ветер к ногам, ты танцуешь наперебой  
с мотыльком уходящего лета, в перелётной листве пожаров.  
Как горячий кофе, твой взгляд, и душа твоя – детский лепет,  
я люблю этот детски лепет, эту осень в сердце моём.

Натюрморт

Смотри, вот мёртвая природа, Nature morte –  
мгновеньем стянутая вечность,  
искусство, утаенное  
в окаменевшей маске атрибутов;  
здесь чистота дыхания  
и сердца первый выстрел,  
немного кадра мраморный покой;  
здесь одиночество и место встреч  
на грани созерцанья,  
где, только и возможно,  
быть самим собой.

Атмосфера

По растушёвке пепельных волос,  
дождливым атмосферным фронтом,  
бежит вино любви, заботливо  
вскрывая наготу.  
Движенья рук стекают змеевидно;  
движеньем света налилось,  
как струйкой ледяной ручья,  
изнеженное тело в облаках.  
Мираж питает кровь застывшего зрачка;  
и у художника всё тает на холсте,  
приобретая форму его рук.  
Смыкаясь в точке небылиц и были,  
вспорхнув пыльцой, иль снежной пылью, тень  
полночного, горящего эскиза  
лучится в листья мятых простыней.  
Граница светотени ощутима  
до кончиков ногтей, прохладно и игриво  
бежит вино любви,  
лаская наготу,  
тревожа взгляда точечную рану.  
Движенья рук – дрожащий, нервный ветер;



движенья глаз – как вязь, как стон рассвета,  
рассвета, что сжигает все мосты;  
где тишина – всегдашняя расплата;  
и одиночеством на шейных позвонках –  
очаг похмельных истин, ворс халата;  
где холст пустой, туманом штор распятый,  
лишь отразит пустых стаканов лязг,  
венком лавровым из глухих проклятий,  
осыпав голову, не в первый, в сотый раз.

Взмах крыла бабочки

Взмах крыла бабочки...  
Как же это красиво – просто дышать.  
Взмах крыла бабочки...  
Осень приходит в храм, чтобы поставить свечу.  
Взмах крыла бабочки...  
Ветер рассказывал притчи осеннему пеплу.  
Взмах крыла бабочки...  
Сердце сгорело, как песня в устах, как ночь.  
Взмах крыла бабочки –  
выдох холодной вселенной.  
Безумие, ангел мой,  
всё лишь – безумие слов...

UAtitled-2

Чем глубже копаешь –  
тем меньше света;  
и мы слепы от собственных слов,  
обращённых друг к другу;  
а закат – прекрасен,  
как радужная паутина  
в туманности Ориона.

Цунами

Когда душа горит в таблетках и вине,  
руины стен окрасив в иней света,  
когда душа не больше капли ветра,  
не больше блика в пепельном окне,  
не больше дождевой оконной влаги,  
прелестной скорби тонкая вуаль,  
сплетётся с шеей, сдавит нежной сбруей;  
и будет ждать, но мне, уже, не жаль,  
не жаль, что полюбил я не иную..  
И упадёт сердечко на ветру,  
что жухлый лист, в промокшую бумагу,  
в надменность неба, пьяного печалью,  
в агонию тончайших стройных сил,  
что преклоняются порогам рек кипящих,  
где смерть тонка, а жизни вязок ил,  
и преисподняя не завтра, в настоящем...

Ноябрьская элегия

Дождливо-ледяной слюной  
ноябрь сковал уют.  
Дороги снега ждут. Глаза от сна прорежет..  
И серость подытожив,  
полуденный художник  
найдёт в душе приют  
сомнениям, надеждам.  
В аромалампе – розмарин;  
увядшей розы плач  
к стеклу прильнёт, будто к сосцу.  
Ночной гуляка-пилигрим  
в окне плетётся мрачно,  
ноябрьским дыханьем сбитый с ног.  
Морщинки по лицу –  
как стен промокших роспись.  
По небу облако скользит,  
скорей сказать, скребёт, и с ним –  
тяжёлый сладкий воздух  
питает грудь. Здесь всюду ждут –  
в ветвях переплетаясь  
пустым зрачком, как пленом сна –  
предвестия распада,  
пришествия зимы,  
горящий лёд ладоней, и белый нежный дым  
под воспаленным ветром.  
Здесь всюду в окнах млечных,  
от чада запотевших,  
рисунок стержнем пальца  
и подписи мираж –  
терпите люди, скоро лето..  
Ночь, сквозь похмелье грязных туч,  
растопит воск, зажжет свечу;  
и солнце, потеряв следы,  
потупит взгляд, неся в кабаке,  
как самый верный грешник,  
последний золотой свой луч,  
последнюю мечту..

### Слепота

Ты картинно падаешь на мраморный пол,  
взмахнув лёгкой тенью, словно испанским веером,  
и обагряешь кровью холодного поцелуя  
последнюю сцену пьесы –  
как ты гордишься собой,  
будто нежное сердце дьявола бьётся в такт  
твоему дыханию;  
я туманно гляжу на случайных прохожих  
в окне из чёрного бархата,  
снимая остывшую влагу ночи и лунную желчь  
с нервных волокон ветвей,  
допивая вино безмолвия, выдержанное в никотиновых паузах  
исповедальной лирики воображения.  
Какая радость – начать сначала,  
когда лучшие из стихов приходят к тебе ниоткуда.

### Дионис

Дикий, дикий цветок, лоза,  
боль и смерть, экстатический оклик вакханок,  
пляски сатиров в священном безумии –  
фракийский вихрь взрывает округу  
свежестью жизни –  
я знаю тяжесть и лёгкость вина.  
Плодоносящая сила земли,  
душа виноделия,  
звуки флейт и кимвалов,  
как погремушки для  
живительной влаги растерзанной плоти –  
чтобы кровь проросла гранатом,  
чтобы сердце стало трагедией,  
а смерть – душою бессмертия,  
скорбью и радостью  
у могилы в Дельфийском храме.  
Деревья, поля и хлеба, кричащие:  
"Приди же сюда, Дионис,  
приди в свой священный храм,  
прискочи на бычьих ногах,  
Дваждырождённый, Ночной, Изобильный!" –  
чтобы реки жертвенной крови текли по рукам ночи  
дионисийским елеем.  
Я знаю лёгкость и тяжесть вина,  
скоротечную прелесть дамасской розы,  
благоуханье холодной весны,  
всплеск новой жизни,  
каждой секундой, которой,  
мы отрицаем себя предыдущих;  
жизни, как промежутка мысли  
между первым криком и последним вздохом,  
безумным вздохом цветка на теле прекрасной вакханки;  
я знаю, но не могу  
сопротивляться любви.

### Элевсинские мистерии

Чувствуешь, в воздухе  
волосы цвета спелых пшеничных колосьев,  
это Деметра-Церера, подносящая колесницу  
крылатых драконов и зёрна пшеницы,  
продолженье Великих Богинь неолита,  
ожившее в пластике  
барочных садов,  
это девять дней поиска,  
не зная ни капли амброзии;  
она идёт в Элевсин, к Колодцу Дев,  
вскармливать сына царицы огнём,  
пить смесь ячменя, воды и болотной мяты,  
чтобы вверить свои мистерии...  
Слышишь, как нежно поёт Прозерпина-Кора,  
словно тень, собирая цветы в Нисейской долине,  
царская тень, утешенье подземного мира,  
где якорь Аида  
гранатовым зёрнышком – кость поперёк горла;  
но мать-Деметра в святилище Элевсина,  
уже готовит бесплодное зелье засухи,  
стряпая дочке две трети свободы;  
плети же пока, плети, душа плодородия,

венки из трав и цветов в Нисейской долине..  
Элевсин, Элевсин,  
пшеничный колос, растущий  
со сверхъестественной силой,  
как лоза винограда на пире в честь Диониса;  
блажен смертный, который видел мистерии –  
две тысячи лет очищений, жертв и постов,  
созерцаний сакральных предметов,  
перепись памяти мёртвых, длинные  
клубы слезоточивой пыли  
с подошв священной дороги;  
две тысячи лет испытаний души после смерти,  
тьма и страх,  
жрец, бросающий молот на бронзовый гонг,  
открывающий холод надежды подземного царства  
в касательстве жизни и смерти;  
безысходная тьма и блуждающий страх, подогретые  
восходящими голосами,  
фееричным светом  
с полей и лугов,  
словно танцуют вместе  
тысячи мистов с осенними факелами,  
словно полночное звёздное небо тает  
в ладони оловом.  
Элевсин, Элевсин, две тысячи лет, как один день,  
причащающий неопита  
присутствием двух богинь,  
усыновивших душу таинством философии и медицины,  
чтобы душа посвящённого  
наслаждалась дыханием смерти.  
Две тысячи лет, две тысячи зим..  
Чувствуешь, в воздухе,  
на пепелищах сожжённых обрядов, возле Афин,  
где уютится  
застывшая пыль священной дороги,  
в руинах солнца Эллады –  
предсмертная судорога язычества,  
как горячие волосы цвета спелых колосьев пшеницы.

Исида

Утро июля, восток Средиземного моря  
созревает звездой Исида – благовест кораблям.  
Утонченная святость женщины-чаровницы,  
облегчение скорби сердца; говорят,  
в устах её – воздух жизни,  
ибо слово её оживляет гортань умерших.  
Оживи, дитя, умри, яд! Пока солнце живо, яд мёртв!  
Магия имени, магия слов,  
словно евангельское обожествление.  
Говорят, её кровь –  
исцеление боли;  
её молитва –  
остановленная ладья Миллионов Лет;  
её амулет из сердолика и красной яшмы,  
как ветер надежды в теле, лишённом дыханья.  
Говорят...

В храмах Египта, Греции и Италии,

где множится блеском Сириус, пеленая небо июля,  
где туманный шёпот жрецов в лучах колокольного звона,  
где крещение, святая вода и елей –  
кто же там, на престоле матери юно-нежной,  
Мадонна с младенцем, или Исида,  
кормящая грудью Гора,  
ткущая ткань лугов и полей;  
морская звезда, или владычица хлеба,  
подобная изумрудной земле?  
Женское плодородие, ветер, вода, медицина,  
долина, оплодотворённая Нилом,  
магия, магия, магия, дающая жизнь, вещая  
дочь земли и небес,  
познавшая сокровенное имя  
обитающего среди кедров –  
кто ты, милосердный обет бессмертия, кто ты?  
Простая, обычная женщина,  
стоящая на берегу – как благовест  
кораблям...

### Поклонение деревьям

Дыши, древняя память ютится тишью безбрежного первозданного леса, океанами зелени;  
сосновыми склонами гор Аркадии; густыми вязами и каштанами севера Апеннин;  
одиноким, тьмой и молчаньем Герцинского леса к востоку от Рейна;  
кипарисами в святилище Эскулапа; древесными демонами и могилами  
с вечнозелёными соснами и кипарисами в Поднебесной; бракосочетаньем  
дерева Манго с жасмином в индийских садах; жертвенными пирогами  
и винами на горах камней в Корее; душами мёртвых предков в деревьях Австралии;  
тропю кельтских друидов, благоговеющих перед дубами;  
Латоною, обнимающей пальму с оливой, готовой дать миру божественных близнецов  
Аполлона и Артемиду; бесплодной женщиной, катающейся под сиротливой яблоней,  
чтобы зачать ребёнка; зелёной веткой в бороздках пашен шведских крестьян; лицом  
рассудительной тени пирамидального тополя в долине Миссури; обрядами  
очищения, предваряющими протяжный стон дуба, словно венца,  
истекающего кровью под занесённым лезвием топора; островными лесными духами,  
выходящими в полнолуние, когда в каждом шелесте листьев – чудятся голоса,  
когда деревья дают солнце, дождь, лёгкие роды и слух шаману.  
Дыши, пятьдесят четыре градуса северной широты, тридцать семь градусов  
восточной долготы, тысяча триста шестьдесят восемь ватт на квадратный метр –  
солнечный полдень в Туле – безмолвие на частоте лип, берёз, каштанов и вязов;  
смена почётного караула – склянки ночных фонарей, как замёрзшие слёзы лунного света,  
как одиночество, как рождение памяти, древней памяти, каменеющей в кольцах  
старого тополя, шумящего чёрным прибором зимних ветвей – и мне снится,  
как, осмелившемуся содрать кору священного дерева, вырезают пупок,  
и, пригвождая к той части, которую он ободрал, вращают, пока кишки, вереницей,  
не обмотают полностью ствол – древняя память немеет в холодном воздухе крыш –  
я не чувствую ног, я чувствую боль в области поясницы –  
сквозняки первозданных безбрежных троп и молитв...

### Сводка

На границе лета и осени, когда выжженный август глотает  
сухими губами асфальта золотую пыль сентября,  
и, окрашенные в зелёный, волосы скучных скверов смывает  
первая седина листопада, когда  
бесполезные крики птиц будят глиняный ковш заката,  
зачерпнувший уют опущенных глаз оконных рам,

раздается голос новорожденного, глухой, неприметный, как мятый надорванный лист клёна на стойке карниза съёмной квартиры, там, жизнь пробивает лунку дыхания сквозь тьму осеннего вечера; бледный ветер, как повивальная бабка, причитая над ухом, шепчет – проснись, проснись...Тряпки, постель, вода, шелест газет; в трещине взгляда – стены и потолок, хранящие лёд безмолвия, бесконечную пустоту; бельевые верёвки, с балкона, цитирующие дрожь ветвей, как узелковая письменность инков; мерцающий пульс лампочки – как источник пространства и времени; на границе осени с ветром, на грани нервного срыва и страха, в колыбели новорожденного плача умирает нежное лето... Слышишь, хрустнул прозрачный холод, будто сердце ёкнуло – это скоро, скоро в газетных колонках, мрачными строчками вырежут: двадцатишестилетняя жительница Белгорода, в Щёкино, в начале сентября, задушила здорового новорожденного сына, по предварительным сводкам – из-за финансовых трудностей; мёртвое тело ребёнка, обёрнутое в тряпки, пролежавшее два дня в квартире, было найдено в мусорном контейнере около дома – два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Точка. На пустые стены падает лунная ртуть. Точка. Дети перебегают улицу. Точка. С карниза сдувает мятый надорванный лист скрипучего клёна, на границе лета и осени, где чья-то немая тень прячется за углом, чья-то девственная душа смотрит в прошлое, смотрит на звёздную пыль, ища материнскую грудь сквозь шёпот влажного воздуха, и рыдает ветер – проснись, проснись – играя пустым целлофаном на обочине мира...

#### Мария-Антуанетта Австрийская

Париж. Площадь Согласия. Утро шестнадцатого октября тысяча семьсот девяносто третьего года. Гигантская толпа в ожидании дармового корма для развлечения (Мария любила забавы) – по нервному полотну мостовой бежит инквизиторская телега Сансона; взгляд королевы сосредоточен, спокоен и неподвижен; бледное лицо с красными кругами под глазами, плотно сжатые губы – дерзость, высокомерие, пренебрежение – она знает – всего лишь сиюминутная боль. Площадь, одетая в могильную тишину, палач с веревкой и шляпой, цокот копыт, скрип колёс, мёртвая сцена (Мария любила играть в придворном театре), главная и последняя роль обескровленной связанной женщины, "австрийской гордячки", младшей любимой дочери Священной Римской империи. Телега вливается в мрачные ступени французского эшафота. На изрезанной плёнке памяти проявляются контуры Девы Марии, святого Антония Падуанского, старшего брата Йозефа, святого Иоанна – очертания урождённого имени; тяжесть рождения, землетрясение в Лиссабоне, как приметы грядущей боли; посещение театральных игрищ, уроков танцев, уроков истории, живописи, правописания, математики, рукоделия, искусства ведения светской беседы (листа отзывы знавших её – она не прочла до конца не одной книги); церемония передачи, на безлюдном рейнском острове, вблизи Страсбурга, Бурбонам, четырнадцатилетнего, обнажённого существа – брачный союз династий; свадьба в Версале – праздник трупов, раненных, приправленный музыкой, мясом, хлебом, вином, фейерверком, брошенными под ноги толпы – триумф захороненных на погосте Святой Мадлены, где двадцать три года спустя, в зловонной общей могиле будет покоится прах королевы; бесконечная гонка за удовольствиями; неполноценность мужа; балы, приёмы и маскарады, полные слухов; строгость

мадам Нуалье; переписка с Мерси д'Аржанто; графиня де Полиньяк дышащая за спиной; дело об ожерелье; мода, азартные игры, катание на коньках; тени ночного Парижа; скупая камера, рубашка, пара батистовых блуз, холодные стены, портрет сына на шее, его локон в детской перчатке, обречённый побег, чтение, и молитва; обвинение в инцесте – на что сама природа отказывалась отвечать; палач, стригущий наголо, нанизывающий железо галльской печати на отведённые за спину руки...

Плётка памяти обрывается на белой пикейной рубашке, на тёмной ленточке на запястьях, на лиловых туфлях, на камне лица, поднимающейся по деревянным ступеням эшафота, так же, как по мрамору лестниц Версаля, и впитывает заключительный безучастный штрих – взгляд в небо, шквальный бросок на доску, лезвие над головой, свист ножа – в руках Сансона кровоточащая голова (как она славилась красотой), воспламенённая над площадью. Кричащие, ликующие в едином порыве десятки тысяч, минуту назад проглотившие языки, провожают свою королеву по-королевски...

Останки будут перенесены в Сен-Дени в тысяча восемьсот пятнадцатом, место захоронения неизвестно.

Оскар Уайльд. Последняя проза

Тяжело больной человек лежит в убогом парижском отеле, свободно импровизируя на тему своей эпитафии; на жёлтых обоях таёт ноябрьский пот, играя забвением нового имени, словно лёгкой иронией смерти, порождающей тотчас легенды.

Под тяжестью собственного дыхания английский бред перемешивается с французской картавостью, дрожащие пальцы свечи капают воском на одеяло; благословляющее крестное знамение, распятие на губах, капельки миры на глазах и ладонях; смертельный холод пробирается в пульс, огонь в камине, как плач пламенных поцелуев на будущем постаменте.

Голос, увядающий самым безупречным цветком осени, сдавленный ржавчиной – это два года за непристойное поведение –

это "Баллада Редингской тюрьмы" – это приговор Британии, уже не выносящей дальнейшего присутствия, того, кто деликатно чувствует в себе смерть.

Жрец искусства, глотающий пену, с застывшей кровоточащей парадоксальной улыбки (ведь или он, или эти мерзкие обои), допивает коньяк, "угощая собой" последних гостей.

Очарование никогда ненаписанных рассказов прорезается гвоздикой в петлице, выкрашенной в зелёный цвет.

Крылатый сфинкс у постели

декламирует молитвы прерафаэлитов в объятьях

созерцания и красоты; короткометражным конвейером –

Дублин, Оксфорд, Италия, Греция, Америка – воспоминания, срывающиеся с онемевшего языка, и падающие глубоким вздохом распрямленного тела, как быстро прочтённый фрагмент пьесы (его ранний талант).

Под всплеск тишины английский эстет отплывает от берега

(океан – не такой уж величественный),

чёрный, как степь, прилив покрывает туманный взгляд,

но воцарившаяся тишина – лишь условность и относительность

наших понятий – не так ли, мистер Себастьян Мельмот,

Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллс Уайльд.

Ходасевич. Смерть

Тяжёлая лира, ложащаяся на европейскую ночь, на изодранное сознание ночного Парижа; тихий ад, поднимающийся в первоначальной стройности, строгости, и, падающий вниз головой в мыльную пену прибоа; не видно ли Вергилия за плечами – нет –

лишь наэлектризованное одиночество, седое,  
жёлто-бледное, всезнающее, как змея, вслушивающееся в правду стекла.  
Свобода души – против чуждого мира, против болезненного огня  
плоти, изъеденной холодом, туберкулёзом, раком, фурункулёзом;  
жёсткая койка, полынь больничной постели, тюремное одеяло – а в воздухе  
природа разлила жаркий июньский мёд – и он плачет, голодный до дрожи,  
забившийся в клетку из простыней, иронично, под-руку с обнажённой  
ненавистью и мудростью смерти, рецензируя неподъёмный вес боли  
в нежности лунного света,  
сумрак хлороформного обморока заплывшего неба, всполохи ветра,  
переворачивающие страницы с зарубками – Брюсов, Белый, Волошин, Горький,  
Набоков, Россия, Венеция, Рига, Берлин, Париж – пока его чистят от крови и гноя  
лягушачьи лапки французского ангела в белом халате. И вот, он сам  
уже тянет руку, через слабый пульс,  
через плотно сомкнутые глаза, не приходя в сознание,  
изодранное сознание предрассветного Парижа, тянет руку, безвольную  
руку, чтоб написать последнюю строчку, с лёгкой улыбкой для Ольги –  
предместье Парижа, Булонь-Бьянкур – больше не будет боли...

### ВуоАарте

Ревущие волны бросаются с чёрным плачем на берег Святой Елены;  
медные горы наливаются тёмным ядом; водянисто-больные деревья  
сдирает тягостный грозовой шквал и швыряет в мёртвую пропасть.  
Искрится жало тропических молний; молниеносная буря разносится  
стоном лонгвудских стен, глубоким вздохом в конвульсивных рывках  
пленённого, отрёкшегося императора. Приступы рвоты, смеха, страха,  
бесстрашия; Атлантика пришла попрощаться с душой маленького капрала,  
но глаза застыли, как бескровные камни вулканических скал.  
Правая кисть корсиканца свисает с кровати – армия...авангард..  
Франция... Жозефина... Порох грома, как последний раскат  
канонады в лапах британских стервятников. Ожог от хвоста кометы, как рок –  
что написано, то написано наверху. Неизменный серый сюртук и треуголка  
пылятся в углу – это судьба – это щедрая пища младенцу европейского романтизма.  
"Долина герани" уже заждалась, уже томится земля. Железный ветер, капризно,  
разжевает кровь, плоть, грязь, пот и дым воздуха Ватерлоо – но почему же не Аустерлица,  
или Тулона? – поздно, осталось лишь подать вина, фруктов, бисквита,  
выпить шампанского, съесть немного слив, винограда и рассмеяться;  
тени окрестных холмов подслушают последнюю волю – Франция –  
скрасив девятнадцатилетие безмолвного ожидания; пока ревущие чёрным плачем  
волны не принесут фрегат капитана Шарне к останкам сына Аяччо...

### Текстура

Исписалась ночь до чёрного рассвета. Время, как струна.  
Снег с дождём – танцующая смерть, греющая рук кубовых вены  
у декабрьского белого костра.  
А ладони краснощёкого младенца, как кирпичики вселенной,  
хлопают вдогонку мотыльку; здесь памяти обрыв –  
а значит – Бог. Здесь вакуум вечности – конечен; мгновение – бессмертно.  
Зарисовать мгновенье словом, миг,  
где угол неизбежного паденья равен  
углу, в который ставили нас в детстве.  
Я отодвинул шторы и увидел – там ноет пустота,  
изматывая сердце; и будущего щель – окаменевшие останки слов,  
плацента чувств и смыслов – мир слишком полон сам собой, а чистота  
искусства, смотрящая из сердца вожделения, проста,  
точно любовь –



она абстракция двухлетнего ребёнка.  
А я, что это небо – лазури бледной лёд, поцеловавший наготу ветвей,  
ресниц заклеенные ставни – но время говорит мне: жди; у кромки  
свечки, у раскрытой старой книги, оно полней,  
оно гораздо совершенней – свеча, старинный фолиант  
и время – теория познания в отсутствии претензий;  
как благодарен я тому, чего здесь нет, и вряд  
ли будет; и у меня – дыхание – как обнажённая натура дна вселенной,  
а проще, чашка кофе, согревающая губы на фоне снегопада,  
и новый горизонт, себя открывший в точке “хватит!”,  
немного свежей мысли (пусть и ворованной, но воровать не стыдно, если брать,  
лишь мудрости покрытые за абсурд, абсурд, где ещё больше мудрости, поэзии, охвата,  
и музыки, воспитанной внутри). Я подчиняюсь – это тоже ведь борьба  
за независимость; когда твердят все – должен –  
я понимаю, что не должен ничего; а поиск одобренья,  
внезапно обернувшийся потерей себя, он излечим, он, как лишай на коже.  
Я – человек – звучит не гордо, терпко – я терплю,  
а, значит, существую. В себе к себе – серьёзность не к лицу –  
найти бы развлечений на свою,  
на свою голову, набить побольше шишек; и так, к словцу,  
прожить, проветрить жизнь – открыв надёжный способ убить время;  
пусть в большинстве – дружны по совокупной лжи,  
пусть слышат только то, чего хотят услышать; тем не менее –  
струна дрожит, дрожит, но помнит и о сроке, читая Отче наш,  
листая послестрочья, снискав заветы естества;  
пренебрежение смертью – есть  
пренебрежение жизнью –  
и в этом весь декабрь – снег, гололёд в крови, сапфировые вены,  
и одиночество новорождённой, замкнутой вселенной,  
замкнувшейся в себе под знаком бесконечность,  
как ночь, как близость ночи Рождества.

### Приглушённый ритм

В окне – раздетый лес, лишённый языка листвы.  
В руке – озноб – подачка декабря.  
В дымке небес сквозит хамелеоном  
застуженное палевое солнце –  
звёзд с неба не хватать. И рвутся швы  
тепла на гребне крон и кровель, хандря  
от обескровленных ландшафтов.  
Невнятным ореолом  
лицо во льдах плывёт, а в унисон –  
стен гробовые доски, излучины колен,  
разбитые о пустоту всех линий,  
грязь фосфорического моря, мельхиор  
обочин, заболоченных  
разряженным пространством,  
лишённым плоти ядовитых трав –  
тише воды, ниже травы..  
Центр тяжести души – медвяное вино;  
акценты на кальян и на шаманство.  
На авансцене пробирает до костей,  
аврора спит в мерцанье монитора,  
и галогенной лампы суррогат –  
без задних ног на горизонте слепым снимком;  
пейзаж молчания натянут меж ветвей,  
клей сна, букет вина под флёром мягкой грусти и уюта,  
гипербореяский трепет ля-бемоль...

В разутый сад, в запруды свиста ветра,  
в регистры драмы пасторально-бледной,  
куда меня никто не звал,  
и где не ждут моих гастролей,  
я, исповедно, анонимом, сквозь чердак,  
залезу, и смахну слезу кому-то,  
кого в помине нет, кого люблю до боли...

### Орнаментация

Тяжелеет холодное небо, замыкая зрительный нерв  
стеклянно-мёртвенной архитектурой пара.  
Побледнев от свободы, взгляд, отливаясь каменно-белой  
безутешной тишью дорог, мостов, тротуаров.

В снежно-червлёное сердце влило пустое пространство,  
выбита почва, выветрен пульс.  
Интерлюдия между осенью и весной, как ницшеанская  
проза под флягу с горькой, и парочка верных пульс

на закуску из ржавого револьвера. Затаённым дыханием, окна,  
исподлобья, ловят кристаллики льда. Туда-сюда, туда-сюда  
по проводам шелест, шёпот, шорох, гомон –  
перепись слухов конструирует новое небо и новую землю, семена

словами на цыпочках. Безошибочно ставлю на кислые корни весны,  
на вяжущий сон, на любовь, на циклон, на диапазон празднословья.  
В низовьях рябиновых зорь, в рассвете бессмертной луны –  
свинцовые веки смыкая, белая кошка у изголовья.

### Магдалина

Иллюзия счастья на капле хмеля, элизиум тёплой плоти,  
абсорбирующей нежность;  
она подаёт надежду, как метеорологическая сводка,  
она кидает небрежно одежду,

и идёт босиком по холодному кафелю ночи,  
лёгким кивком приветствуя непосредственность  
и неизбежность любви – грешная кровь и святая душа, порочная  
правда, выщая из ветра верёвки, роскошь, блеск

и дымчатый взгляд на углях погребальных костров заката.  
Расплывчатый ряд незаконченных фраз – парафраз  
приливных сил луны, треска цикад –  
считывай её обнажённое слово, обнажённую вязь

прикосновений, дуновение поцелуя.  
Она – призрак, химера, бред, предвкушение одиночества;  
как легка её кровь, её плоть, её роль, её вечный июль,  
брошенный на обочину;  
она – драма, трагедия, фарс, водевиль и аллилуйя;  
иллюзия ласки с мизинца дождя в бездонных ладонях ночи.

### Абстракцион

Звонких звёзд каблучки маркируют четырёхмерный

часовой механизм чёрного неба, чередуя, на глаз, заметки световых лет – вековая тоска – на висках лежит снежная рожь, и завет атмосферного ледяного огня, осколочно раздражая шагреню обмороженной кожи. Тень тепла на двоих; нервный тик тополей – это ветра северный ток; прорва дрожащих тел на остановке, как дозировка незаконченных дел с приставкой – пере – переждать, откосить ненадолго, эдак, на год-другой, световой – а там, сединой зарастёт, загустеет само, как стопроцентное Дао, выводящее на чистую воду талое сердце, центробежное, кругосветное, плачущее, скорбящее, любящее. Тень тепла на двоих; её улыбка – точка плавления всех сентенций, лень постели из трав, нитью солярно-янтарной, тянущаяся сквозь танцующий горизонт. Лёд на карнизе в эскизах луны; отражение её шажков в каблучках звонких звезд; движение тонкой мимики, словно алхимия зимней розы на фрезе серебристого инея; туманный северный ветер, будто белённый сединой Бог, парсеками отмеряющий каждый витражный вздох, зажатый в её снежной груди. И она, влюблённо, считает столетья, растянувшиеся на секунды.

### Поток

Запираясь в мёртвой тишине истёртого дня, у бело-огненного тумана холода, у олова расплавленной ночи, между строчек, между голых строчек, сжавшихся в узел безмолвия проводов, у покрывала звезд, разбросанного случайным прохожим, отчаянным, безбожным ритмом ветра, у разлитого полумрака любви, невостробованной, забытой, избитой до каждой буквы, у рук, изрезанных в полночь мёртвых вен, я успел сказать тебе – мне ещё нужно твоё дыхание, оборванное на полуслове декабрьского рассвета, и спеть, испить, заработать один поцелуй утренней дрожи, прокравшейся в кожный покров оконных стёкол, сотканых по образу и подобию зимних слёз, нагого, воющего пространства, взорвавшегося золой горизонта...

### Полиритмия

Ажурный татуаж ветвей на коже зимнего альбома; хрустальный иней инкрустацией в глухой аркаде взгляда; рыдает скрипка; менестрель-декабрь, рефреном пьяной вьюги, под руку с обречённой Терпсихорой, бредёт от дома к дому, свой стекловидный гарнитур дорогой шелкотканой обернув – легато. Сквозь чёрно-белый регтайм кровель иллюминирует скупой розарий солнца, или луны виньетка тянет убогим светом, преломлённым шелухой обсыпавшихся фресок, и ветер в окнах тает, словно валькирий изваянья – флажолет. Всё заперто под ключ, скрипичный ключ, этюдники пылятся мелом снега, последний выдох, фуэте, и даже пантомима мёртвых скверов медитативной лирикой сойдёт под ночь на нет – пустая мизансцена, и абсолютный слух в полнометражный сон, туда, где септаккорд рассвета хранит погасший луч.

## Диссонансы

Вместо пламени – искры на сладкое – слишком сладкое  
быстро перегорает – самоубийственная проза мгновения  
счастья; терпите, и вам воздастся, обязательно, в неперменном порядке,  
ещё большим объёмом пищи для долготерпения.  
Я не верю в конец света, но я его жду, так, про запас, загодя,  
где люди становятся похожими на свою подпись,  
где трафаретная проза взгляда хромает оптоволоконной поступью  
в высокомерие – как симптоматику потери веры в себя,  
и лишь мёртвые знают ответы на все вопросы.  
Вместо пламени – фейерверк, букет из бенгальских огней;  
праздно лают нотками обветренные губы красноречья – Бетховен,  
даже на ухо не наступил; душа ломается, словно техника, чаще техники, но в ней,  
ещё теплится лучшая драматургия – драматургия дикой природы.

## Монохромия

Монохромия пьяного вечера; плечи, согретые холодом;  
Однотонное небо, просев тишиной январского снега,  
Смотрит в затылок, смотрит на бесконечность бесполого  
Лунного света, и растворяет аллею  
Тихого взгляда, звукоряд фонарных, расстроенных струн,  
Струящих одинокий, озябший прибой в переборе мелодий...  
Как хочется спрятаться в тени июня,  
Одиноко сидящего на скамейке Богом забытого города,  
В ленном воздухе умирающего мгновения,  
Падающего на колени закатом, когда рядом,  
Лишь ветра ладонь, лишь мерное тление  
Солоноватых волн и бесконечность туманного, ненадёжного взгляда,  
Безнадёжного, как слова, как январь одевающийся  
В рваную тень  
Аллей...

## Аппликация

Паутина ветвей впивается в смуглое небо,  
Нарезая мозаику облачных снов января.  
Снег лежит на губах, на ресницах, на первых  
Лучах восходящего, мёртвым туманом, солнца. В огнях  
Уставших оконных сот – мёд свечи  
Разъедает померкшие стены, струны рвутся о тишину;  
Голос охрипших улиц – речитатив, нарочито  
Бьющийся пульсом погасшего сердца. Под седую луну  
Разливают последние капли вина влюблённые,  
Одинокие, робкие, дерзкие, страстные, пока ветви  
Падают в окна тенью призрачных звёзд, чтобы снова  
Печать объятий скрепила душу вчерашнего лета,  
Превращая в огонь ледяные слова...

## Пленэр

В тумане её ладоней – огонь подвенечного платья осени  
тает проседью линии жизни, манит беспечную влагу дождя,  
плавит закатное золото, стонет от жажды, и просит  
прелого воздуха листопада, толику яда, зажатого

под язычком пылевидного неба... Голое поле светит  
девственным ветром, медью пресной травы, голодом  
солнца и шелковидным пеплом – светит в рассвет  
её полусонного взгляда... В её невольной боли –

гранатовый сумрак, холодная ванна серебряной рощи  
с разбитым стеклом берёз, прилив беспомощной красоты,  
цветы из проросших слёз на ледяной земле, ночи без сна, и дождь,  
беспечная влага дождя в подвенечном платье листвы.

Меццо-пиано, меццо-форте\*

Закружилась неба заводь; синих зимних жил надсада  
в жгут свернула кровли скверов; склепы рек хоронят время;  
седной рихтует снег плёнку ледяного взгляда;  
свет струится из-под ног, заливая блеском тленным

стен беззвучье, крючья древ, вены спящих желобов,  
свет осев в напев исхода, ночь впускает в свой дрожащий,  
еле дышащий пробег – слышишь, вещей каплей крови,  
капающий с неба снег, снег, как вакуум нисходящий...

Снег и вакуум – всё болезнь – меццо-пиано, меццо-форте;  
снег – как с чистого листа запах винный в сердце грешном,  
и любовь, и пустота, страсть и страх в слепых разводах;  
moderato, не спеша улетучилось вино, лишь оставив привкус вешний;  
лишь мерцаньем пьяной коды –  
мелочь в проруби души  
на хорошую погоду.

\* – не слишком тихо, не слишком громко

Гало

На излёте чувств, преодолевая материал расшатанной плоти,  
в поте лица уходящего лета, бездетного взгляда, заплатанного  
дождём из свинца и бирюзовой росой, там, где живой воздух  
бездушного космоса ночи и прочих сомнений, я играю в прятки,

я играю с золотом, почерневшим от слов и движений,  
я играю на опережение собственной мысли, искренне  
забывая хлорированное пространство больничного кафеля,  
грязные стены и пенные проходные, я приписываю

себе слабость тоски и нежность безмолвия, преждевременно  
умираю и воскресаю в объятьях искажённого фонарного света,  
обезображенного горчащей луной и комой зимнего вздоха.  
Мне уже не важно, что будет, что было, что это

было со мной, мне важно мгновение бледного проблеска  
с оттиска стылой надежды, мне снится лето во всех своих оболочках,  
колбочках, веточках, почках и перекрестках прибоа.  
На излёте чувств, я ещё чувствую чью-то руку, чьё-то соцветие на восточном  
зареве пробуждённого неба.

Мрамор

Кристаллический звон сугробов в гробовой утробе морозной  
ночи; чёрной росой осыпается небо в беспризорные коридоры  
проспектов; крик, сбитый с ног ветром, взбитый инеем, мерцает в воздухе  
мраморным хрустом; разбитая люстра луны качает печальные волны

бледного света, и плед мостовой укрывает шаги. Бельевой верёвкой  
кольшутся ветви разлапистых парков; леопардом скользит  
безмолвное олово звёзд в отражении глаз, осколками  
проедая слёзы; жжение льда в сужении вен, словно застывший гранит –

остановись мгновенье и отзовись погостами тысяч ночей.  
Воздух выточен под многогранник кристалла; устало  
аллеи сводят мосты; морфий зимы бездонно вливается в череп  
луны; гофра света кривит белизной придорожных витрин уста –  
воронье крыло у изголовья, один патрон в револьвере –  
всё неспроста, всё просто.

### Колыбель

Ночь тебе к лицу. Долговязые тени проездов, короткие фразы  
шагов, пустыня перспективы, танцующий взгляд на лезвии  
инея – ночь к тебе тепла. Продувающий ветер, негласно,  
скользнёт аритмией под спящее сердце и лестно

шепнёт – просыпайся, любовь моя, прошли годы, как мы  
не кружились в ласковом чёрном холоде, в окнах январского  
звездапада. Пресные краски спадут наготой, и огни  
мостовой пожелают тебе, листопадом молчанья, и вязким

мерцанием – смирения – маленького суицида для мира,  
где не умеют молчать. Лишь ночь тебя услышит  
в струнной партии антрацитового партитуры, в эфире  
лунных фигур и циклов, играя дыханием, вышитым

из тонких душистых липовых веток и румяной вечерней зари,  
качая хлипкую лодку свечи, пеленая воздух заснеженной пеной,  
лишь ночь, пока ты печальным взмахом чёрных ресниц скрываешь следы  
разлуки, и, осыпая пеплом штор тишину, засыпаешь в нежной постели.

### Декор

Сердце просит нежности и боли, там, где осень брезжит  
лежищем костров, там, где нежность вносят на подносе золотом  
в храм печали у причала наслажденья. Нежной  
песней чадит воздух, но на слух – от амброзии, лишь ком  
в охрипшей глотке; ближе, только зимняя обглодка,  
ближе, только иней затон.

Рваной раной дышит неба плоть – скрежет солнца вышит  
поперёк простуженного горла. Вены парков ветром рвёт –  
не жалко, заживёт, пока кто-то, ещё что-то пишет  
на берёзовой коре душой живой, и межзвёздный лёд  
лижет взглядом хрупким, как голубка  
подпись ставит на обрывке неба. Видишь, облаком плывёт

сердца миг – то погребальное мгновенье, где опять  
я не успел запечатлеть себя, словно бы примёрзло слово

к языку и онемело; рядом тлеет нежность в воздухе, распятом  
на заснеженных ветвях, реет белый влажный кашель в поле  
зрения – а дальше – ночь, бездонно, внутривенно,  
лихорадкой бледной, в кровь вливает чёрный алкоголь ...

## Барокко

Кипящий желток зимнего солнца, приготовленный на пару  
морозного вечера, рисуется в сточных водах высоковольтного волокна;  
мачты столбов разевают дорожную пасть, истекая лимонной слюной  
в светильники матовых фар; глаза, цвета доброй грусти, бабушкины глаза,

где-то там, глубоко, под спящим мрамором сердца, провожают меня домой,  
пока горизонт изгибается, как кошачий хребет, чтобы накрыть панельный скелет  
города чёрной паучьей материей под мёртвой лилией лунного света.  
Крещение не за горами – реки страждущих сливаются в очередь за святой водой;

а в подкладке куртки, ещё гниёт прошлогодний счастливый билетик,  
словно смиренье за пазухой; невыученные уроки ночных кошмаров  
ветрено шелестят в голове – всё верно, что тщетно; пульсар капилляров  
тише воды, ниже травы; глаза, цвета нежной грусти, напоследок,

роняют, слезой застывших садов, одинокое ожидание – и я ловлю отголоском,  
на раскалённые угли ладоней, прохладные нотки ноктюрна. Тело ломит тоска  
и любовь, приурочившая многоголосье заката к зимнему одиночеству.  
Мера длины – бездонная ночь; нервы – как лунная тина, как ледяной дождь;  
а в морщинистых складках неба – соломенный блеск звёзд и бабушкины глаза...

## Поседали от ветра аллеи

Поседали от ветра аллеи,  
Снежным клеем увязнув друг в друге;  
Я хочу, чтоб душа горела,  
Как январская белая вьюга.

Ледяная коррозия кровель,  
Облаков поминальная тризна;  
Я люблю сине-розовый воздух,  
Льющий слёзы на щёки карнизов.

От зари – тень золы; взгляд – как пепел,  
Разведённый, пропитанный спиртом;  
В безнадежно чахоточном небе  
Пьёт боярышник ангел-хранитель.

За метелью метель увязалась,  
Губ свинец обагрив пеклом водки;  
Я хочу, чтоб душа дышала,  
На разрыв и навзрыд грузных лёгких.

Занесённый сугробами берег,  
Клок окна, тишины тонкий локон;  
Я люблю лакать чёрную негу  
Из неверных полуночных окон.

И устало, небрежно безбрежно,  
Глаз немых вскрыв смолистую брешь,  
Я люблю и лелею надежду,

Что не сбудется больше надежд.

Расплескалась чаша волос

Золотисто-снежным вином  
Расплескалась чаша волос;  
Серебра ледяная гроздь  
Пробивает зрачка чернозём.  
Как готические соборы  
Прорастают германским лесом,  
Шпиль зари кровотоцит над городом,  
Укрепляясь раствором небесным.  
На янтарно-облачном брюхе  
Катит солнце тяжеловесно;  
И одна здесь слышится песня –  
Грешной вьюги с отдышкой синюхи.  
Здесь вино ожиданья, рука  
На пульсации мёртвого инея,  
Здесь история в два глотка  
Беспробудной надежды зимней.  
Дни надежды – мехи вина;  
Ожидание – золото сердца;  
Ожиданья тоска не видна,  
И надежды печаль неизвестна,  
Той, что ждёт у окна одиноко,  
Губы жжёт сквозняками герани,  
И молитвы кровоподтёки  
Сушит снегом, до боли поздним,  
Вопросительно замирая...  
Кто ушёл, не промолвив ни звука,  
Будто нежность на тонкой грани,  
Тот вернётся холодом стёкол,  
Охраняющих её дыханье,  
Чтобы ночь открыла глаза;  
Тот вернётся к свече этих окон,  
Где сугробов гробы, стужа охры,  
Незабудки солёные глаз,  
И дыханья морозная вязь,  
Бесконечная и одинокая,  
Погребённая тлением стёкол,  
Как один бесконечный рассказ.

Выплакав могильник горизонта

Расцвела заря январской розой,  
Выплакав могильник горизонта;  
Убелил глаза огонь берёзовый,  
Разбрелись снега широким фронтом.

Я иду по краю откровения,  
Окрылённый веером зари,  
Тишина рассеяла сомнения,  
Белизной посмертной наградив.

Пустотой дорога освещает,  
Взгляд кипенной патиной хрустит;  
Моё завтра – нежное прощанье;  
День вчерашний – грешное, прости.



Расцвела заря. В увядшем теле  
Ветхим сердцем вьюга напоёт:  
Всё, что было – в памяти истлеет,  
Всё, что будет – памятью сгниёт.

Фонарей неровный почерк

Фонарей неровный почерк  
пятнами чернил по ветру,  
словно бляди вдоль обочин,  
словно дамы полусвета.

Ориентируясь на зорьку  
зимнего солнцестоянья,  
сердца осень, как осколки  
чёрных листьев и преданий.

Дребезжит вагон вселенной,  
остановки, что погосты,  
в уши воск залить себе бы,  
как святой Бернар Клервоский.

Фонарей размытых пена,  
тишины шестое чувство,  
радость – это просветленье,  
производное от грусти.

Сердце бьётся тихо-тихо –  
вот, возьми его, потрогай;  
сердце рвётся смертной рифмой –  
смерть всеядна, слава богу.

Аромат смолится чайный  
чёрной паузой отвесной,  
согревая, на прощанье,  
поздний вечер, день воскресный.

Пульс свечи отдаётся в висках

Пульс свечи отдаётся в висках обжигающе-дьявольской вьюгой,  
зыбь алмазная точит промозглой сетчатки стекло,  
я целую твои прохладные бледные губы  
в пожелтевшем альбоме, что инеем сна занесло.

Этот сон неподвластен огням притяженья земного,  
этот сон незнаком и пугающ под кровлей земного огня,  
это боль тишины на задворках последнего слова;  
и я жду возвращения – к истокам, к себе, к сердцу небытия.

Ожидание встречи – больше, чем сама встреча,  
ожиданье исхода – вся жизнь, но, а жизнь априори права;  
каждый вдох – смерти дань – нас сближает тоскою конечной,  
я живу – а любить можно, только живых – и ты тоже жива.

Сентиментальное

Я много раз болел любовью,  
но в жизни любишь – только раз –  
я без раздумий выбрал Бога,  
но Бог ответил: не сейчас.

Я жёг мосты, мостил дороги,  
но в жизни, есть один лишь путь –  
я без раздумий выбрал Бога,  
но Бог ответил: позабудь.

Я разбазарил слишком много,  
в остатке – ближние, семья,  
но я уже не помню Бога,  
и Бог сказал мне: это Я.

#### Житейское

Скрытен, и чего с него возьмёшь?  
Что поделаешь, не надо удивляться –  
Если планы враз огласке придаёшь,  
Любят планы не осуществляться.

Скрытен он, и наг, как беглый раб,  
Чтобы пурпур ран был тише ила,  
У прохожего, что бросит сонный взгляд  
На его заросшую могилу

Ветер вымел всё, и мир, как обруч,  
Память лишь оставив наперёд;  
Беден он, не ждёт его ничто уж;  
Что ж он рад? Да сам ничто не ждёт

Тормозным путём года окинув,  
Вечный двигатель прикинет он за миг –  
Пусть душа работает, плоть – стынет,  
Сердца голод благородно приютит.

#### Обертон восходящего солнца

Колебания обесточенного чёрного света  
падают приглушённо  
на тусклые стёкла спальни.  
Я перелистываю страницы ночи,  
и слышу ноты, колокольчиками шагов,  
продирающиеся ото сна.  
Я узник музыки твоего обнажённого тела,  
когда спелым гранатом  
восходит румянец солнца  
на глянцевого скатерти  
сонного горизонта,  
и ты плывёшь, очертаньем  
бесплотного снежного облака,  
по утренним сквознякам,  
звонким горным ручьём  
вбирая прохладу нового дня,  
под радостный всплеск горящих ладошек  
младенца Эроса.  
Только дотронься до воздуха, и мой слух –

станет золотом, станет шёлком, станет мёдом и терпким вино,  
станет тонким, дрожащим, будто струна, поцелуем,  
играющим с тенистыми искрами вяза,  
изгибающимся в пространстве нежного света,  
ищущим гармонию звукоряда в преданной ласке,  
исполняющим прелюдии и этюды  
бархатных летних деньков,  
воспламеняющим огонь занавесок.  
Я слышал, что всё на свете,  
всего лишь незримые струны,  
пленяющие пространство-время,  
но у кого-то должен быть и смычок.  
Так что, сыграй мне ещё,  
пока солнце не опустило руки  
в чашу бледного пота неба,  
раскалённого скукой, скисшего вечностью  
млечных погонных метров,  
сыграй мне ещё одну пьесу,  
аккомпанемент разлуки  
для скорой встречи.

Аристокл

Души крыло, как музыка, но в ней корпит и плоти скоротечность,  
капризами хамелеона-ветра. Мной дышит стен холодный свет,  
материи небытие, подвижный образ вечности  
на зубчатых колёсиках часов, страсть к женщине – желание бессмертья.

Я раб свободы; вожделенье – пол души; взгляд капает свинцом,  
в идеях воплощая бытие вещей; и этот город медно-бледный,  
из кристаллических решёток новостроек – он словно мёртв, но он живое существо –  
он плотски слепнув – прозревал, что до рожденья знал идею смерти.

Снег, блеском перетянутой струны, в открытом море красоты –  
как бодрствующих сон, учитель, что так щедро молчалив, и так искусен.  
Затерянный во льдах январь скользнёт календарём; сметёт седым дождём следы  
невинно-мудро – и эта речь, речь истины, проста, до безрассудства.

Под зимним черепашьим фонарём, в пещере чёрной, опытом случайным,  
отбрасывая опыта объём, забрезжит тень пернатая украдкой –  
души крыло, в ней музыки печать дневным лучом, точно печаль,  
согласно жребию Дельфийского оракула.

Кун-цзы

Сердитый ветер, полный яда, сквозь фонари-поводыри,  
преступным бессердечьем, тянет полумрак;  
молчанье – верный друг, который не предаст и не изменит –  
зарёй осенней тлеет  
на письменном столе;  
и разум – он же, горький опыт –  
всё учится, чтоб удивлять других;  
узнав про угол квадрата,  
всё представляет остальные три,  
но, а великий квадрат,  
по-прежнему, углов как не имел, так не имеет,  
как не смотри и не верти  
в пространстве, где теряются слова...

Вот месяц, благородный муж, серпом зеркальным полоснул  
чернильный свод, и высота землистым инеем упала на дорогу,  
где ноша тяжела и долог путь, и где мудрец завял, как трав полог,  
как совершенство ради совершенства, он здесь уснул,  
спокойно смерть приняв ночную,  
в надежде, что познал с утра немного  
крылатой истины, и по следам других не шёл...  
Иероглиф Жэнь над черепашью панцирем земли  
звездой печальной качнулся,  
и смертным потом  
обдало пути того, кто о пути вещал.  
Здесь не менялись только мудрецы и идиоты.

Фома

Сакральная душа аллея февральских,  
что ближе мне, чем ближе я себе,  
ветвями поглощая снежный блеск,  
тенистым терном свет оконный крестит;  
и греет снег, как кофе с молоком,  
усталые движенья алых губ  
по направлению к молитве безымянной;  
и жжёт, и согревает снежный стон,  
как первородный грех, как вечное блаженство,  
нагие, девственные формы спящих душ.  
Крыш шёпот горделив и неуклюж,  
от бестелесной тьмы не оторваться;  
здесь чёрная вуаль ресниц, усталости причал,  
дыханьем тишины учила наслаждаться,  
и я раскаивался в том, что говорил,  
и редко сожалел, когда молчал.  
Здесь времени таинственные воды,  
в божественном котле, у вещего огня,  
смиренной плотью испаряются в небытие природы;  
и седовласый старец, по-младенчески игриво,  
рукой, хранящей в русле млечных жил  
существования и сущности могилу,  
тасует наобум  
пять доказательств собственного Бытия,  
провозглашая на сегодня:  
надежду, веру и любовь,  
как бы случайную необходимость мира;  
и счастья боль,  
что в послевкусии распада  
живёт назло;  
и зло – несовершенством блага;  
и тишь аллея, как глубину ампира;  
и мель луны – февральскую юдоль.

Бенедикт. Импровизация

Босой душой по раскалённой пустыне жизни,  
через собственный ад, который нужно пройти  
с наименьшими потерями –  
то есть до конца, до точки бессилия,  
идёт одинокий философ –  
бесконечная природа, причина самой себя,  
интуитивная истина, само желание,

идёт рабство страстей,  
радости и печали.  
Здесь нет надежды без страха,  
а вечность слепа;  
здесь мир познаваем – но само познание –  
бесконечно;  
здесь время живёт для того,  
кто не помнит о времени;  
здесь сомнения и ошибки,  
как неполное понимание истины,  
и жизнь не имеет смысла,  
так как является смыслом самой себя.  
Здесь никто не напишет, не выкажет одобрения,  
не разделит кров, не подойдет ближе,  
чем на четыре локтя –  
и это, тоже любовь.  
Здесь достоверность вещей –  
призрак всеобщего заблуждение;  
и в счастье чужого – всеобщее неудовольствие,  
а блаженство, есть добродетель, но не награда.  
Увидеть вселенную с высоты Бога,  
в отшлифованных линзах света,  
босой душой, бегущей  
по раскалённой пустыне жизни –  
может быть, в этом и есть смысл страдания,  
смысл одиночества, сущность желания,  
и смысл коротких секунд счастья.

Иммануил

Высота глубокого одиночества в матово-сизом небе  
февральского созерцания, февральской чувственности;  
чистая интуиция времени качается неравновесной бездной  
над головами прохожих и прихожан; искусство

сновидца, незаинтересованным удовольствием, пылится  
в запасниках мозга; пространство, как аппарат восприятия,  
строит строки сошедшей с ума прозы, плетёт небылицы,  
о том, что страдание – стимул, о том, что прекрасное –

целесообразность без цели; и я подчиняюсь сквозному ветру  
несущихся мимо окон, и я диктую законы природе,  
и я теряю в дружбе свободу и непредвзятость; а, бледные  
тени мира, Бог и душа сидят на завалинке, возле

дома счастья, у идеала воображения, у бронзово-медной  
чаши заката, где разливают вечер, ночь и безмолвие...

Фридрих

Бездонно и самозабвенно,  
Бросая плоть в холодный пот,  
Душа, оставив козни тела,  
Аорту вечера прорвёт.

Кровь солнца отольётся красным  
С палитры облачных седин,  
Здесь нет поверхности прекрасной

Без ужасающих глубин.

Закат, сквозь лень могил замшелых,  
Сгорает медленной свечой,  
Кто здесь познал себя, поверь мне,  
Себе же будет палачом.

Дурная слабость в теле ночи,  
Луна, как жёлтый яд абсента,  
Живи опасно и порочно,  
Ведь жизнь бессмыслием бессмертна.

Лови дыханье ноты зыбкой,  
Ищи в ноктюрнах чёрный бриз,  
Ведь жизнь без музыки – ошибка,  
Ведь смерть близка, близка, как жизнь.

Дионисийской тёмной мессой  
Невинность зверя утоля,  
Смотри, смотри в нагую бездну –  
Она начнёт смотреть в тебя.

Ожог. Назавтра

Ночь выпивает глаза мои –  
три дня я молился о смерти,  
как об избавлении,  
но получил, лишь боль  
и глухоту сердец  
(вход в комнату  
с десятью окнами, в одиннадцатом окне).  
Ночь, нарисованная углём.  
Свет открытых ладоней.  
Пепельная душа –  
назавтра.

Вне холода

Февраль расправил седые крылья, размеренно  
падая с нежно-спящей лилии неба  
снежной росой. Снег, лёгкий крылатый снег,  
растворяется в воздухе, словно сахар в чае.  
Ослепительно белый вдох отравил молчанием сердце;  
слово, нищие слово, бедное  
слово забьётся в сырую душу усталым ветром –  
на повестке дня нотки бескровной печали  
в недосказанном и недопетом,

пока февраль покрывает хлопком ресницы,  
сдувая пенки с безучастно-молочного солнца.  
Снежный ком отрешённости, голос, как  
треснувший лёд, синий блюз вставшего  
полночью сердца – пришёл, поклонился  
могильнику мыслей, выпил немного красного,  
северной ласкою приукрасив оконный лягг –  
февраль обретает своё доподлинное настоящее  
в предсмертной записке, в надежде, что убивает на раз.

Молчание, созвучное крику; застывшие тени сада,  
где все разговоры неизменно ведут обратно,  
к отправному пункту безмолвия;  
земля, вбирающая каменной грудью серебряную прохладу,  
земля под ногами шепчет мёртвым дыханьем;  
заплывшие крыши, как тающие в тумане  
ветрила плывущего на закат города –  
я гулял по ним летним взглядом,  
когда мы были другими, когда мы были вне холода.

Вчера

Глянцевый шёпот моря; застывшая соль на губах разъедает слова;  
какофония боли, волн – всё сильней, надежда – бесспорней;  
осыпаясь вечерним солнцем на горячую гальку,  
память бросает якорь;  
я смотрю на память – вижу провал;  
я подбираю слова – чувствую воду;  
расходуя без остатка алый  
цвет горизонта,  
макая кисточку взгляда в пунцовую слякоть.

Сядь же ко мне на колени,  
милая, нежная, поздняя,  
звёзд южных первая встречная,  
вечная переменная, волн небрежных кипень;  
переодевшись в ночь, берег проглотит тени,  
кедры утопят сердце, взгляд похоронит звёзды;  
близость – вчерашний вечер;  
ветер – вчерашний день –  
что разбросал пыльцу предзакатного воздуха...

Беглая бабочка неба греется у огня  
безмянных призрачных окон; смолю блестящей чернеет  
водная степь, как чернеет моя душа, где ни зги  
не видно, лишь вина на глоток;  
застывшая маска света, заплывшая воском луна;  
приглушённое время в отрешённых аспидах аллеи;  
я ищу тебя в этих строках – смешно –  
ты всегда была между строк,  
где-то там, в беспросветно алом,  
на самом дне неба  
южных кровей.

Чёрная желчь

Пыль седины в февральскую ложину  
метелью календарной упадёт;  
уходит время, зарывается в морщины,  
и память набивает время в рот.

Любить и пить – тоска осенних листьев,  
сквозняк души в молитве безвозвратной;  
огонь вина и плоти нежной искры,  
истлев, оставят горький привкус завтра.

Порочный круг подсветит сферой лунной  
квадрат окна, нащупав ночи дно;

дыхание, в молитве беспробудной,  
сорвётся криком, вылетит в окно,

слетит по скудным, нищим тротуарам,  
по бедным скверам в жалкий променад,  
где в тлене ночи время прожигал я,  
где я любил, а, значит, был богат.

### Гиперборейский романс

Спешат ветра, кидают камни в пропасть, сдирают кожу с мёртвенной земли,  
и жалит страх, смоля бездушный воздух, играя волчьим окликом вдали.  
Огонь погаснет, скроет мрак рассудок, как смерть взревет нордическая тьма,  
фитиль зрачка затмением накроет, и бледным оловом зальёт глаза луна.  
Спешат снега, метелью лихорадит, от вьюги плоть багряна, словно стяг,  
хрипит придушенное небо звёздной гарью, и разливает волчью кровь по кубкам Вакх.  
Огонь умрёт, надежду вырвет с корнем, и тишина растянется в веках,  
метель вспорхнёт, взорвут дыханьем волны нагой простор, впитавший вечный страх.  
В безмолвной свежести, в свечении полярном, предсмертным воем растворится наудачу –  
от холода, лишь сердце горячее, от холода, лишь поцелуи жарче.

### Примечания на ночь

Скользнула чайка над солёным покрывалом  
беспечных волн у ветхого причала;  
всё в мире – преходяще; суть – за кадром;  
где мысль кончается – там Бог берёт начало.

Былого не стереть, не переплавить,  
не переделать росчерком пера;  
но если б мог я своё прошлое исправить,  
как настоящим наслаждался б я сполна?

На совесть чистую прекрасно налипают  
нечистых мыслей грязные следы;  
и правда безобразная толкает  
на ложь прекрасную – так поделом, увы.

А ночь твердит стихи наперебой,  
и кто-то называет это пьянством;  
другие говорят: да он больной;  
а я обыден в своём жизненном пространстве.

Полжизни напролёт падений ждать,  
и на фантазии полёт убить полжизни,  
чтоб срок пожизненный с самим собой мотать,  
вчера, сегодня и во веки присно.

Да к чёрту вечность, о насущном не забудь,  
рассудок в цепи, цепь на шею и идти,  
найти в имеющимся – стоящее; путь,  
где в многоточьях – недосказанность любви.

.

### Апостериори

Выхватывая из ежесекундности, расстояния,  
за которыми скрывается глубина и искренность чувств,



за которыми – бесконечность, как метафора любви,  
или понятие, свидетельствующее об ограниченности рассудка,  
я изучаю противоречивую науку души, теряя в прибыли,  
я смотрю в недалёкое прошлое, не упускающее шанса  
напомнить о себе в ближайшем будущем,  
я разбавляю пресную массу избытка толикой сладости,  
самым ценным – последней крошкой хлеба,  
я думаю, что, способный на большее, и тратящий силы на меньшее,  
не стоит большего, я думаю, что душа – совершенна,  
но совершенная душа, не есть душа человеческая.  
Я вижу, как истина сама находит своего мудреца,  
как надежда питается наименьшим,  
как широта сердца полнится узостью предубеждений,  
как легка тропа заблуждений, и как греет солнце, сжигая дотла,  
как победивший себя, не знает больше горечи поражений,  
как женская красота удостаивается  
бесконечного наслаждения самой собой,  
и в ней, вселенная, проживает по-новому  
каждое своё мгновение, первой ласточкой ночи  
кроша шелуху матовых звёзд на суету городов.

Айрин

А ты читаешь Книгу Бытия,  
и видишь в зеркале портрет незримый Евы,  
и первозданный грех в ладонях сна,  
и скромный райский сад своей вселенной.

А ты листаешь осени главу,  
весеннею водой наводишь тени,  
и вся природа – сновиденье наяву,  
как скромный райский сад твоей вселенной.

А ты всё ждёшь, в глазах храня восторг,  
а ты всё веришь в святость многоточий,  
но день ложится пустотой под чёрный лёд,  
как взгляд в проём молчащих окон ночи.

И ты хранишь тлен звёздного огня,  
и освещаешь им пустыню лунных парков,  
читая на ночь Книгу Бытия,  
катясь в небытие воздушных замков.

Дыханье Евы, замерев глухим закатом,  
в фонарной гнили припадёт к твоей постели,  
где меркнет пепел, под сырым осенним златом,  
от райской блажи женственной вселенной.

Дыханья ток, след поцелуя влажный,  
ты видишь в зеркале осколок чёрный неба,  
и первозданный грех, нагую жажду,  
плоть одиночества и жертвенность вселенной.

Дыханья яр, след от тоски янтарной,  
в прохладе окон ты читаешь между строчек –  
что эта жизнь, не лучший край для рая,  
и рай тождествен заре полярной ночи.

Лайдж

Я жду тоску – вползает лунный свет, как послевокусие дождя в прорехи грунта;  
на дне стакана – ночи терпкий след – ещё глоток, и дань тоске – наутро;  
где мудренее, в полузабытье плестись по лестниц околесицам карьерным,  
греть реноме в потоке дел и тел, и лезть на стену от примерного безделья.  
Я жду весну – за дверью ждёт сквозняк и сырость обезличенных подъездов;  
на дне заката – кофе и коньяк, табачный дым, истории болезней,  
штампуемые сотнями, на раз, фармацевтически привитой истерией;  
на дне заката – смерти смех анфас, и книга жизни – срез психиатрии.  
Я завтра жду – как ждут тоску весны, я день вчерашний отличаю безразличьем,  
где лёд чернил, как слов погост застыл, где различим, лишь сердца шум больничный;  
и сердце бредит в браге облаков, засеянных в предматровскую проседь,  
и сердце, лопнувшей звездой, бросает вновь, горсть теплоты под смрад колёс коростных.  
Я расправляю крылья, как бельё, развешивает прачка после стирки;  
я упиваюсь красотой, как пьют вино, бродяги из бокалов мутно-липких.  
Я жду тоску – мне светит нагота обочины с разметкой шлюх нетрезвых,  
где греет руки нервная весна, у пепелища фонарей, в оттенках пресных;  
и пепел падает на кожу городов, и набивается за ворот редких встречаемых,  
и кто-то там, гадает на любовь, и я, кому-то, может быть, обещан;  
и день лукаво выполняет жизни план, дыханьем наделяя жребий женский,  
и смерть взамен справляется про дань, и, подвернувшись, чьей-то жизни рвётся леска.

### Панорамирование

Зрачка замочная скважина, в многоэтажное небо вколоченная,  
сосредоточено, до столбняка, ловит злословье свинцовых туч;  
ключ души повернётся наотмашь, и чертежи дождя  
порвёт, обесточит,  
задушит солнцем безбожным,  
язычески плотским, геофизически жгучим.

На громоздких подмостках многоэтажного неба,  
в падали воздуха, бледная влага истлеет  
в тепло и женские слёзы;  
падая сочной медью, вечер покатит по встречной, вея  
закатом, беспозвоночной химерой ночи,  
и слякотно-млечным анабиозом звёзд.

Поздним светом впрягается рваная тщета мыслей;  
чёрный череп ночного скелета  
молью кошачьих глаз обгрызен;  
в фокусировке хрусталика тает священная истина:  
обнажённое впечатление –  
больше истины.

### Доминикана

Изабель, Изабель,  
изрезанная прибрежная линия  
и гористый рельеф;  
Изабель, Изабель,  
плодородные долины СибАО  
и Вега-Реаль;  
Изабель, Изабель,  
сезоны дождей,  
привкус кофе и табака;  
Изабель, Изабель,

влажные склоны гор  
воспламеняются  
вечнозеленым лесом;  
Изабель, Изабель,  
улыбка босоногой мулатки  
срывается с уст  
тропическим ураганом;  
Изабель, Изабель,  
воздух Атлантики,  
укрывается  
в листопадных лесах и саваннах;  
Изабель, Изабель,  
золотой аромат полдня  
и серебряный шёпот ночи;  
Изабель, Изабель,  
остановившееся сердце  
между Кордильерой-Септентриональ  
и Кардильерой-Сентраль.

#### Убитый снег

Спешу дыханьем увлечённым  
на проблесковый маячок  
любви, где холод, голод, страх,  
слезой весны душистой затянулись,  
омывшей пресный, чёрный лоск  
созвездий февраля.  
В межрёберном пространстве марта –  
сверкнёт, поблекнув, снег,  
убитый тихой лаской,  
в которой, нежные ладони, ночи ждут.  
Заснеженного сердца панихиду  
толкнёт, приливной скукой, под обрыв –  
к свободному полёту, к кривизне  
холодной сферы горизонта,  
к беспризорной  
бессоннице горячих глаз,  
и прочим покаяньям.  
Звенящий омут утренней прохлады,  
желаньем, вздёрнет солнца шар,  
катящийся по неба оцинковке  
через капризный атмосферный фронт.  
Печаль напомнит о себе, взойдя  
звездой, кричащей в слепоту влюблённых,  
терзая тени их уюта  
грозой полунагих ветвей;  
но зной, провозгласивший притяжение,  
росой с тончайшей кожи соскользнёт  
на воздуха расплавленный металл,  
застывший розой нежного рассвета –  
где мёртвый снег, будто души подснежник;  
и день задьшит поцелуем нежно-алым,  
и ночь растает ручейком чернил в блокнот.

#### Капля весенней крови

Точками глаз опущенных,  
строчки шагов пропитаны;

дай же мне хлеба насущного,  
слова, до боли избитого.  
Звон суеты безнадежный,  
иней весенний на лицах;  
ты приложи подорожник  
к сердца иссохшей кринице.  
Ты приложи безмолвье  
кисломолочным туманом;  
каплей весенней крови  
сердце залижет раны.  
Дай же сладости – смертность,  
дай же мудрости – горечь;  
там, где жизнь безответна –  
слабость придёт на помощь.  
Слабость смиренно впуская,  
камень подточит вода;  
смерть прошепчет, лаская –  
жизнь одолжил ты сполна.  
Глаз опущенных точки  
падают в мятую душу;  
дай же мне кость чёрной ночи,  
чёрствой ночи горбушку.  
Жизни нажива, что жилы,  
сердце, как мяса кусок;  
сжалась в груди пружина,  
светом взорвался восток;  
ветви пустились плясом,  
ставни хлеща до рези;  
тесно в груди и вязко,  
что там найдётся – лишь плесень.  
С плоти – болезненный ветер,  
тающий в пекле синем;  
дай же мне горсть мою пепла,  
миром рассеять по миру;  
и приложи молчанье,  
кислым туманным млеком;  
жизнь подвернулась случайно,  
смерть караулит от века.

Освободи

Освободи август –  
сорви солнечный свет  
со стебля подсолнуха.

Выпусти морской ветер –  
прислушайся к шёпоту волн  
в спирали ракушки.

Задёрни шторы –  
ночь коснётся плеча,  
будто сердце уронит последний такт.

Задержи дыхание –  
оборвётся воздушная нить,  
расплетая венки созвездий.

Лунный свет упадёт занавеской  
на свинцовые стёкла

глаз.

Светляком проскользнёт попутка –  
кто ждёт,  
обречён на надежду.

Au revoir

Простого неба власяница  
На плечи козьим пухом ляжет.  
Ты свет вбираешь по крупицам,  
Я след теряю тьмой овражной.

Многоэтажной тенью горной  
Уляжется подол вечерний.  
Святое небо, свет бездомный,  
Сухие губы отреченья.

В травы душисто-сочный всполох  
Опустится безмолвный холод.  
Сквозняк в дверях, подъездный воздух,  
И солнце падает щеколдой.

Рассвет вобьет каблук апреля,  
В лазури, склянки звезд заглохнут;  
Здесь безнадежно – только время.  
На завтра – крепкий сон и кофе.

ВоAjour

Луч взгляда, преломлённый  
тигровой лилией плафона,  
март убаюкал  
ледяным дождём,  
и окрестил –  
душой.

Прошедший день  
червлёной далью тлеет,  
как ежедневника  
осиновый листок  
в тарелочке с окурками  
и снами.

Согретых ночью,  
не убережёт,  
дистанции холодная постель,  
от новых встреч  
в расселинах весенних,  
в притоках слёз и рук.

Воскреснет утро  
вешним ручейком,  
неспешно время  
заведёт пружину,  
взмахнув ресницами  
слоистых облаков.

Плоть обростёт  
дыханием тепла,  
нальётся кровью  
мёртвый штиль аллеи;  
плоть смертна,  
а поэтому – мгновенье  
нетленно в первозданной новизне.

#### Эрос и холод

Смотря на мышиную сферу луны,  
На её шишковатую рожицу,  
Я вижу кошачий глаз изнутри,  
И глас вопиющей роженицы  
Крысы, в оттенках густого свинца,  
Подтёками ночи раздавленного;  
Я вижу заплывшую свечку лица,  
Светящего в сырость подвальной.  
Под кожей дремучего полотна,  
Под чёрным древесным елеем,  
Я мерки снимаю, в надрезе окна,  
С тления лунных морей;  
Я чую холодные пальцы любви  
На струнах, промозглых, как дождь,  
Я чувствую ветер её наготы,  
Её беспрестанную дрожь;  
Я чувствую хрупкость и нежность ветвей,  
Горящих в надменности звёзд,  
Я вижу, как чёрный древесный елей  
Течёт на расплавленный ост.  
И медленным сном разбавляя вино,  
Где тает древесный елей,  
Я вижу мышиною луны полотно,  
В следах от кошачьих когтей;  
И солнцем весенним, в тумане сыром,  
Ресниц обжигая аллеи,  
Я чувствую бреши души, как разлом  
Холодного сердца апреля.

#### Малая сцена

Кисло-свинцовый снег прёт на рожон, но сбывается оттепель.  
Почка солнца, цвета асфальта, набухает весенней, мартовской брошью,  
всплывая со дна ночи.  
Горизонт растянута, словно сети, полные водорослей,  
волочимые на голый берег рыбацкой лодкой.  
Тротуары, как подтаявшее мороженное.  
По тонкому льду скользит исхудавшее небо,  
полозом отражения.  
И можно дышать свободно  
зелеными сквозняками,  
не боясь воспаления лёгких.  
Он поёт о любви, и, практически, просит прощенья,  
теряя железную волю анахорета.

#### Легато

Апрель стучится белым бездорожьем,  
крошится бархатом весенняя метель,  
рассвет продрог до бледно-алой кожи;  
я безутешен, словно снег и насторожен, как лиса,  
но музыка прощает беспокойство.

Тепло фаянса, жар кофейной гущи –  
мне сохранят на кромке языка  
горячий мимоходный привкус солнца,  
пока лоснится млечный пух с седины зимы,  
и жемчуг сна рассыпан под ногами.

Излучистые пальцы мёртвых скверов,  
перебирая ветви, лад за ладом,  
нащупывают птичьи голоса  
и залежи травы под бурным паром,  
с месторождений серебристых облаков.

Лёд проводов причаливает тишью,  
но жизнь терпимее, когда природа ближе;  
и где-то там, могильная прохлада  
вынашивает новую любовь,  
играя блюз на восемь тактов ночи.

Только

богиня  
прекрасна,  
словно  
огонь,  
съедающий сердце  
и душу,

преломляющий  
одинокое  
завтрашнее рассвета  
женственным  
единовластием;

ультрамариновой  
чайкой  
колотится  
алебастр зимы,

дышит  
ангел  
?

Поговори со мной

Пепельный снег  
Оседают туманной  
Гаванью.  
Олово  
Вечера,  
Охра  
Разбитого солнца,  
Индиговый

Срез  
Оста -

Мы  
Несём  
Откровение  
Исповедального поцелуя.

Тают сны, словно  
Илистый воздух.  
Шёпот  
Иллюзиона  
Ночных тополей -  
А капелла.

Мы  
Открыты  
Естествознанию  
Голых рук,  
Обнажённых

Слов.  
Единственное  
Расстояние  
До  
Центра вселенной -  
Амплитуда сердца.

Я люблю тебя

Ярко-

Лиловая ночь  
Ютится на  
Базальтовых скалах  
Ломанной береговой линии  
Юга.

Тёплый ветер,  
Евангельской лаской,  
Бросает в воду  
Якорь луны.

Индигово-

Эбонитовый воздух  
Тает  
Оазисом

Млечных звёзд.  
Осколок  
Яшмы на сердце.

Доносится  
Ускользящий  
Шум  
Аквамарина.



Пепельной  
Ленточкой горизонта  
Алеет  
Чарующее  
Единоверие  
Твоего поцелуя.

Дождь шевелит крыльями

Дождь шевелит крыльями,  
будто сама душа смеётся.  
Громоздкие водостоки,  
иерихонскими трубами,  
тянутся-льются  
к размытому вешнему устью,  
где одинокий взгляд  
заточен во времени  
трёхмерной проекцией света.  
Заплывший апрель  
переминается  
полураздетым  
сумраком,  
расщепляясь на ветер  
и ветреность тротуаров.  
Пространство, тающим облаком,  
падает  
в стекловидные лужи -  
тихо, тихо,  
будто шепчет в игольное ушко сам Бог;  
и дождь, повсеместно,  
резонирует  
расстроенной арфой,  
отпечатавшись небом  
на грязных стёклах  
троллейбусов.  
Уместен восторг  
уместна печаль,  
и беспричинность метафоры;  
к месту принять на веру  
изумрудную меланхолию,  
как душу  
и промокшие ноги.  
Однообразие перекуров;  
бесформенное  
притяжение многоэтажек;  
окрест -  
плеск ветвей,  
влага воздушного поцелуя  
в театральной паузе  
между убогими  
лавочками.  
Всё так ненадёжно важно,  
и так безнадёжно свято,  
будто смеётся сам Бог  
в горящем ручье заката,  
сбросив пурпурный плащ  
на головы вязов.

## Молитвослов

Растёкся смолю мёртвый иней,  
Покрыло солнце небом вязким,  
И день, с оттенком мокрой глины,  
Ласкает строгое пространство.

Шагрень дорог ложится в строчки,  
Столбы, как знаки препиранья,  
В их тишине – поэма ночи,  
В них веста час исповедальный.

В кровь и вино молитвослова  
Закат роняет свои реки,  
Так мягко, нежно – что до боли,  
Так ненадёжно – что вовеки.

Бледнеет воздух между кистей  
Нагих ветвей; болотной тиной  
Плывут приметы, знаки, числа,  
И голой груши паутина.

Рябые лужи топчет ветер,  
Срывает шапки вьюгой вешней,  
И день, прутком стального света,  
Перебирает головешки.

Портьеру вздёрнет воздух плотский,  
Душа развеется, украдкой;  
Подбросят чувства в небо кости,  
Дыша азартом вешних парков.

И на костях шестого чувства,  
Скользнув по сердцу, неба гладь,  
Так близко – что не дотянуться,  
Так далеко – рукой подать.

## Расфокусировка

Пьяный-пьяный, бреду пиано,  
нечаянно, наотмашь  
освещённый небесной механикой,  
как в бреду обречённый  
квантовой  
неопределённостью  
и притяжением тела;  
абсолютный нуль городского улья,  
одновалентный, разложенный в ряд –  
восход-закат-восход-полураспад;  
с искривлённым, как пространство-время,  
позвоночником, ограниченный  
скоростью света  
и прожиточным минимумом;  
перекличкой левого  
и правого полушарий,  
циркулирую  
в навязчивых мыслях, как в мыле,  
объедаясь  
на ночь

пищей для размышлений;  
эволюционирую,  
безбожно набожно,  
уравнием не состояния,  
до  
пределов алкоголизма, табакокурения,  
и излечения, излучением  
здорового цвета кожи  
в строго отведённых для жизни местах;  
а сердце стучит синусоидой  
в ночное небо, как в крышку гроба,  
чёрной дырой пожирая время;  
а энтропия растёт, капризно,  
как волосы на голове,  
и ногти на пальцах –  
осень моей вселенной,  
стечение обстоятельств,  
или немного большее,  
чем на графике линии жизни,  
в граничных условиях  
пыльной ячейки памяти?

Присела на карниз

Присела на карниз  
ветвь вяза;  
тенью мокрой,  
сквозь луж апрельских линзы,  
смотрясь в чужие окна,  
она скрывала ветер.  
Как струны скрипки, пела  
ночная мгла, капризно,  
хлестая вяза улей;  
в моей ладони белой  
тлел мак апрельских углей.  
И в темноте бесплотной,  
я руку протянул  
к дрожащей нити вяза,  
упавшей на стекло,  
разбитой вазой с пеплом.  
Она осколком выжгла  
мне чёрную строку,  
шептавшую неспешно –  
что не вернусь сегодня,  
куда вчера бежал  
по лезвию весны,  
смотрясь в чужое сердце.

Каданс

Ворожея-весна  
Окрутила голову

Монотонно-ласково,  
На волоске  
Ереси и

Голубинога

Неба, скривилась  
Излучиной  
Едкого облачка,  
Тлеющего

Валидолом под языком.  
Енотовидные  
Столбы вдоль дороги  
Наигрывали  
Адажио.

Истекал в кювет

День,  
Отягчённый  
Гирей апрельского солнца.  
Око  
Ра,  
Аннигилируя с  
Египетской  
Тьмой

Берёзовой рощи,  
Едва-едва,  
Лёгкой прослойкой вечера,  
Открывало, вполглаза, ночное  
Евангелие.